

ИГОРЬ ЕЛИСЕЕВ

РАЗ-ДВА



Игорь Елисеев
Раз-Два. Роман

«Издательские решения»

Елисеев И.

Раз-Два. Роман / И. Елисеев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-856375-1

В СССР на свет появляются два сросшихся младенца. Проведя свое детство в интернате, они понимают, что во многом отличаются от других людей. Период взросления подогревается унижениями со стороны общества. Но судьба им благоволит, приоткрыв дверь к счастью — операции по разделению. Они отправляются в сложный путь. «Раз-Два» — психологическая драма, основные события которой разворачиваются в 80-е и 90-е гг. XX в. Это размышление о том, как трудно быть человеком и как важно оставаться им до конца.

ISBN 978-5-44-856375-1

© Елисеев И.

© Издательские решения

Содержание

Негожихи	7
Порядковые номера	15
Несправедливость как норма жизни	23
Котята в мешке	35
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Раз-Два Роман

Игорь Елисеев

Чтение продлевает жизнь.

Дизайнер обложки Игорь Елисеев

© Игорь Елисеев, 2018

© Игорь Елисеев, дизайн обложки, 2018

ISBN 978-5-4485-6375-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Елисеев, под влиянием культуры и контекста русского языка, который сильно отличается от английского или британского, обретает свой собственный уникальный литературный стиль. Я люблю книги, написанные иностранными авторами, которые не обязательно используют лишь один родной язык. Полагаю, что „Раз-Два“ вполне может стать современной классикой. Настоятельно рекомендую».

J. Aislynn d’Merricksson, Manhattan Book Review

«Всеобъемлющий, хорошо выполненный и наводящий на размышления. Книжные клубы останутся довольны!» **TheBookLife Prize by Publishers Weekly**

«Рекомендуется в качестве очень мощного литературного и социального романа, который нельзя отложить!»

Diane Donovan, Senior Reviewer, Midwest Book Review

«Читая „Раз-Два“, я вспомнил, почему на протяжении всей своей взрослой жизни я тяготел к великим русским писателям. Итак, прочитав „Раз-Два“, я вновь проникся присутствием настоящего величия – слово, не столь тривиальное, как это кажется на первый взгляд, сколь уместное в данном случае. Я искренне восхитился проблесками гоголевского юмора, нашедшего свое отражение в создании художественных образов, процветающих на протяжении всего романа: странного маленького человека, походящего на плоскую тыкву, и контролёра, который порабощает близнецов».

Jack Magnus, Readers’ Favorite

«Оригинальная, болезненная история о социальной изоляции».

Kirkus Reviews

«Странно себе представить мир, в котором дети лишаются даже собственных имён...»

Lisa Hill, ANZ LitLovers

«Это гениальный роман, психологическая драма, которая буквально сбивает вас с ног и выворачивает душу наизнанку. Но пусть это не помешает вам насладиться данным произведением, переполненным прекрасными моментами вплоть до столь реалистичного финала, что

едва прикоснувшись к ним, я почувствовал, как хлопаю в ладоши и поднимаю стакан кошерного виски».

Mark Benjamin, Literary Flits

«Эта блестяще написанная книга, которая временами всё-таки взывает к передышке. В своей уникальной манере Елисеев поднимает извечный вопрос, уже затронутый Достоевским: сколь велика ценность жизни отверженного и обездоленного человека, не способного прижиться в нашем обществе».

Shelby Londyn-Heath, Surf's Up Writers Bookshelves

«Игорь Елисеев обладает обманчивым и, казалось бы, простым стилем письма, обычно не свойственным для столь сложных произведений, которым, тем не менее, удаётся сплести сложный гобелен из диалоговой и повествовательной форм – так, что его приятно читать. Его образ Веры и Надежды, не спускаясь во тьму безумства, является ярким выражением метафизического и идеалистического подхода».

Stefan Vucak

«Раз-Два – это «наиболее оригинальная книга, какую я вам только могу порекомендовать».

John, The Modern Novel

«Любой, кто возьмётся за прочтение данной книги, может быть удивлен инновационным, своего рода экспериментально-театральным стилем повествования, по крайней мере, если сравнивать его с современными романами. Язык рассказчика, похоже, намеренно нарушает правила, чтобы донести до читателя глубоко трогательную историю девочек-близнецов».

Tantra Bensko, автор романа «Glossolalia: Psychological Suspense»

«Красиво написанная, необычайно мощная, Раз-Два представляет собой редкую жемчужину чтения и рекомендуется без оговорок». **Book Viral**

Негожики

Боже, как тут холодно. Ты выглядишь такой счастливой, когда спишь, а я только и думаю о том, что мёрзну. Почему же здесь так холодно? Всё никак не могу согреться как тогда, в той больнице, когда нас с тобой поместили в ледяную воду. Мы изо всех сил старались выбраться, цепляясь за края огромной ванны. Всё помещение было залито голубоватым светом, сквозь который всё ошутимей проступали бесцветные всевидящие очи Ивана Борисовича. Ты помнишь его? На двери его кабинета красовалась деревянная табличка с авторитетным званием, обязывающим весь персонал выполнять все его требования. Вода была обжигающе холодной; казалось, словно тысячи иголок впиваются в тело и проникают в душу; я никак не могла отдышаться и привыкнуть. Не помню, до каких пор это продолжалось, хотелось бы никогда не вспоминать. Затем случилась беда: ты сильно заболела и Иван Борисович распорядился поместить нас в изолятор. Лёжа на больничной койке, чуть приподнимая правый бок и прикрывая глаза, ты вдруг широко открывала рот и, задыхаясь, жадно глотала воздух; в твоей груди слышались хрипы и булькающие звуки, ты приподнималась на локтях, сплёвывала мокроты на пол и долго прислушивалась к зловещей тишине, пока тяжесть наших тел не становилась невыносимой. Встревоженная, я лежала рядом и никак не могла отделаться от щемящего чувства, будто ты умираешь... Вскоре следом за тобой заболела и я.

Изолятор являл собой небольшого размера комнатку с небольшим зарешёченным окном под самым потолком; около стены располагалась старая скрипучая койка, справа от нас: проржавевший умывальник, маленькое зеркало и унитаз; а в углу стояла маленькая табуретка. Дверь наглухо закрывалась на ключ с внутренней стороны. Тарелки с едой на подносе нам доставляла тётя Маша – широкобёдрая, согбенная, кроткая женщина с серебряными волосами, тщательно собранными и спрятанными под белым чепчиком. Иван Борисович называл её комендантшей. К еде полагались две большие кружки едва заваренного чая или кипятка. Половину чая я отпивала маленькими глотками, – ты категорически отказывалась пить, мотала головой и беззвучно рычала, – а в оставшейся части замачивала кусок простыни и прикладывала поочерёдно – сперва к твоей груди, потом к своей. Перед самым Новым годом пришла оттепель, и выпавший за ночь снег практически растаял. Комната залилась радужным солнечным светом, проникающим через оконные решётки – эти тончайшие, как чувство такта, световые ножи разрезали нас на равные части, одинаковые, как все заблуждения разума, но одновременно такие разные.

Когда мы немного окрепли, тётя Маша принесла нам два больших оранжевых апельсина и поздравила с Новым Годом, пожелав благополучия и радости, и счастья, и много новых впечатлений, которых лучше бы не случилось вовсе – милая, добрая, простодушная комендантша. Прячась под одеялом, ты съела апельсин вместе с кожурой, потому что не знала, как его чистить, и я решила отдать тебе свой, наивно надеясь, что *так* ты скорее выздоровеешь. Только теперь я понимаю, насколько это было нелепо, ведь мы – *единое целое*. Я – это ты, а ты – это я.

Я очень смутно помню наше детство. Жаль, что ты спишь и не можешь напомнить мне о тех ранних годах, которые, подобно комете, пролетели над нами по широкой дуге и, ошеломив, бесследно исчезли. Ещё одно яркое воспоминание из детства, которое невозможно забыть, – ты нередко гладила меня по голове, притворяясь нашей мамой, но всегда пресекала ответные ласки, молча отстранялась и раздражённо отталкивала мою руку. Ещё помню сказки перед сном. Замученная астмой и лёгкой одышкой, прищёптывая и поминутно озираясь на входную дверь, тётя Маша читала нам книги о далёких странах, синих морях и отважных принцах, блуждающих по волшебным мирам в поисках прекрасных принцесс. Надо признаться, за несколько лет я не встречала ни одного, но всё равно продолжала верить в чудо,

ведь с верой всё становится возможным, даже то, что казалось недостижимым. Сказку о Гадком утёнке я знала почти наизусть. Особенно нравилась мне заключительная часть, в которой он превращался в прекрасного лебедя, присоединялся к лебединой стае и улетал вместе с ними на юг. И никто на птичьем дворе не знал, что пролетающая над ними прекрасная птица – это их прежний гадкий утёнок. Уже тогда я чувствовала необходимость значительных жизненных перемен, но сама ещё не совсем понимала, к чему эти перемены должны привести.

Все эти события случились задолго до того, как мы впервые увидели своё отражение в зеркале.

В столичном родильном доме состоялись тяжёлые и мучительные роды, в результате которых на свет появились близнецы, первый – крупный, второй – поменьше, болезненный и как будто недоношенный. В небольшом, но очень уютном (практически библиотечном) зале, чьи окна выходили на фруктовый сад, столпилось немало врачей, желавших поглазеть на невиданное чудо. Картина, в центре которой расположились четыре крошечных детских ноги, представлялась настолько величественной, курьёзной и мрачной, что один из самых видных деятелей той эпохи – то ли писатель, то ли инженер, – неизвестно как проникший в родильное отделение, лаконично заметил: «Зрелище и впрямь жутковатое, но ведь и комичное тоже». После стольких талантливых слов, увязанных воедино, акушерка, принимавшая роды, истерично крикнула и уже в третий раз погрузилась в обморок, ударившись головой о стул. Все прочие присутствующие хранили молчание.

Сначала сотрудники роддома, движимые исключительно чувством сострадания и профессиональным долгом, вознамерились сообщить нашим родителям, будто мы умерли, но не успели: одна из дежурных санитарок, не имевшая ни чувства такта, ни специального разрешения, всё-таки показала нас матери. Это почти ритуальное и точно рассчитанное действие возымело обратный эффект: новоиспечённую родительницу немедленно хватил удар, а вскоре начались и проблемы с психикой. Под давлением медицинского руководства уязвлённая мать подписала свидетельство о нашей смерти и, не откладывая начало «новой жизни» в дальний ящик, покинула родильный дом навсегда. Отец в тот момент был в командировке по службе и о «смерти ребёнка» узнал из обыкновенной телеграммы. Впоследствии врачи частенько пристыжали нас историями, как тяжело проходили роды у нашей матери, сколько ей пришлось отдать последних сил, чтобы мы родились без травм, переломов и гипоксии. Прямо-таки настоящий Герой Труда.

В течение нескольких лет мы играли роль подопытных, сначала в институте педиатрии, а затем в институте травматологии, где изучением разного рода «дикивинок» занимался тот самый Иван Борисович – доктор наук, преподаватель и наш наставник. Теперь уже не установить, кто подарил нам имена. Не думаю, что это были мать с отцом, поскольку они отсутствовали в нашей жизни с самого рождения, как отсутствуют пальцы на ногах-протезах. В свидетельстве о рождении значилось следующее: *левая* – Надежда, *правая* – Вера. Должно быть, боялись перепутать. Вера – это я, а вместе нас называют соединёнными близнецами. Нам ещё повезло, ибо около половины сросшихся близнецов рождаются мёртвыми. Внешне мы очень похожи, но характер у нас разный, – всё как у обычных людей, только немного иначе.

Со временем Ивану Борисовичу, видимо, наскучило тратить своё научное время на некачественную ошибку природы, и нас перевели в закрытый пансионат, где мы и получили начальное образование. Лучшие годы своей жизни я связываю с тем чудесным местом. На оконных рамах не было решёток, из окон пансионата виднелся лес, а в душевой текла горячая вода. Ранним утром мы пробуждались от щебета птиц, стаями слетавшихся на самодельные скворечники, которые мастерили дети, поднимались с кровати, подходили к окну и, осторожно открыв форточку, вкушали блаженство, наслаждаясь упоительными запахами хвойного леса. Именно там мы познакомилась с Лизи.

На самом деле имя ей было – Евангелина, но по какой-то необъяснимой причуде она звала себя Лизи. Выглядела она очень юно – лет на шестнадцать с натяжкой. Лишь некоторое время спустя (как всегда, совершенно случайно) мы сумели выяснить её настоящий возраст. Оказалось – ей двадцать два, о чём наглядно свидетельствовала необыкновенно глубокая морщинка между бровей, будто приоткрывавшая в её душе – там, в самой глубине – какую-то внутреннюю дверцу, заметную даже на спокойном лице. Сложно описать её двумя словами. Для меня Лизи олицетворяла фейерверк; такого количества красок и оттенков эмоций мне не приходилось встречать ни в одном человеке. В ней уживались и маленький непосредственный ребёнок, и взрослая, умудрённая опытом женщина. Уже одним только своим присутствием, точно появившееся светило над горизонтом, она дарила людям как радость и ощущение бесконечного праздника, так и вполне реальную угрозу, лишь немного отсроченную во времени. А пока, между делом, подобно актрисе в гримёрке перед выходом на сцену, она устраивала мелкие беспорядки, будоража внимание больных и выздоравливающих, поднимая на уши весь персонал. Обо всех людях на свете она отзывалась только положительно, даже о тех, кто вольно или невольно сумел её обидеть. Никогда в жизни мы не встречали такого таинственного и вместе с тем открытого и доверчивого человека. Однако одну вещь она всё же предпочитала скрывать от посторонних глаз и ушей – и это был не возраст. Узнав о ранней беременности своей дочери, – это случилось во время Олимпиады 80¹, – родители без тени смущения заставили её сделать аборт; психика у девушки заметно пошатнулась, после чего её отправили в пансионат на реабилитацию. Не думаю, чтобы они намеревались ей помочь, скорее всего, это было желание скрыть от общественного ока нравственное падение неразумного чада. А иначе и быть не могло, ведь родители Лизи *служили народу* – важные партийные шишки² – и случайную беременность своей дочери от чернокожего атлета приравнивали к государственному преступлению.

Однажды, слоняясь от скуки по узким коридорам и бесконечным корпусам, она случайно забрела в нашу комнату, села на пол и безо всякого стеснения принялась долго и внимательно нас изучать. Потом, будто удовлетворившись увиденным, достала из сумки лист бумаги, положила его на соседний стул и занялась рисованием. Мы сидели на кровати, боясь пошевелиться, не понимая, что происходит, и совершенно не зная, что нужно делать в таких ситуациях. Наконец, закончив рисунок, она вопросительно покосилась в нашу сторону, но с таким искренним удивлением, как будто только сейчас обнаружила наше присутствие: «Привет. Я – Лизи. Хотите, я и дальше буду вас рисовать?» – спросила она и, не дождав ответа, ушла.

Столь необычное происшествие просто обязывало нас выйти из комнаты, и в течение следующих нескольких дней, невольно и повсюду искать с ней встречи. А ровно через неделю, как будто следуя тщательно продуманному и заранее составленному расписанию, она отыскалась сама, пробравшись в нашу комнату через открытое окно. Хотя дверь в палаты никогда не запиралась, лазить через окно, деловито пояснила нам Лизи, всё-таки намного интереснее и проще. Ограничившись краткой иллюстрацией своих возможностей, она немедленно уселась на нашу кровать, достала свои тетради и блокноты и принялась демонстрировать свои рисунки. Сначала молча, – просто протягивая нам листки бумаги, – так поступает порой ребёнок со своим безмолвным отражением, потом объяснила: «Не все, наверное, знают о том, что с детства я немного рисую... Здесь вы вдвоём, а вот на этом рисунке я стою между вами». Так постепенно выяснилось, что рисунков с двумя сросшимися девочками в её коллекции неожиданно много, а ведь она рисовала разных людей: воспитателей, прохожих, врачей, иногда мёртвых птиц или животных. На одном из рисунков ты была выше ростом и крупнее меня чуть ли не вдвое,

¹ Летние Олимпийские игры 1980 года (официальное название – Игры XXII Олимпиады) проходили в Москве, столице СССР, с 19 июля по 3 августа 1980 года.

² Жарг. – служащие, занятые в структурах власти и управления и занимавших высшие посты в правительстве СССР.

на другом – был изображён наш общий портрет с разноцветными лицами: моё – розового цвета, твоё – синего. На некоторых рисунках мы представлялись уродливее, чем есть на самом деле, на других – гораздо красивее; мы скрещивались и растягивались, уплотнялись и расширялись; я обладала нелепыми бородой и усами, а твоё квадратное лицо озарялось треугольной улыбкой. Иногда она склеивала нас спинами так, что мы никогда не увидели бы друг друга, а порой – плечами, в этом случае я располагала только левой рукой, а ты – правой. Хотя на самом деле у нас две руки и две ноги, а сросшиеся мы только в области бёдер. Но Лизи смотрела на мир другими глазами, соединяя неповторимое с непохожим на свой необычный лад. На одном из рисунков, который мне особенно понравился, мы собирали полевые цветы. Это было прекрасно. Просто – загляденье: красивые роскошные платья устилали землю, головы «свалены» в разные стороны, как у скачущих галопом пристяжных, распущенные волосы вились волнами, а прекрасные бездонные глаза выражали мудрость и печаль. А вот другой рисунок, выдававший нашу наготу, смутил меня до крайней растерянности. Не стесняясь, Лизи пририсовала нам большую грудь, – точнее четыре груди, ни одной из которых не было и в помине, – а наши ноги, руки, живот, впрочем, как и всё остальное тело были бессовестно обнажены. Это восхваление воображаемой красоты я восприняла как укор за наличествующее уродство. Тебе же, напротив, рисунок понравился; ты долго тарачилась на фальшивые тела и в конечном итоге манерно спросила: «А ты могла бы нарисовать нас по отдельности»? Сначала она от всей души посмеялась, потом вытаскила из пачки сигарету и торопливо, жадно закурила. «Глупые девчонки, вы ничего не смыслите в жизни. Вся суть в том, что вы не такие, как все, просто вылитые *негожики!* – лично я до сих пор не понимаю, что именно имелось в виду. – Побудьте хотя бы на моих рисунках самими собой. Я уверена, вам это понравится».

«Пребывание в таком заведении, как этот пансионат – есть предел мечтаний любого художника. Что это, если не маленький творческий рай для немногих избранных, в котором позволительно предаваться любым безрассудствам, только бы это не тревожило медперсонал и не слишком смущало окружающих! – сказала она, вытаскивая новую сигарету, как вдруг остановилась на полпути, будто бы сомневаясь в истинности собственных слов, и с вызовом добавила: – Будь моя воля, я бы всех художников поместила в специальные заведения закрытого типа, вроде этого, дабы отделить существенное от несущественного, главное от второстепенного». Тогда я набралась смелости и спросила, ради чего нужно рисовать и зачем. «А действительно, зачем? – воскликнула она, немного причмокивая, будто пробуя слова на вкус. – Должен же быть хоть какой-то способ реагировать на действительность... или, думаешь, не должен? – Я лишь неопределённо пожала плечами, всё больше начиная жалеть о заданном вопросе. – Словами не выразить всю гамму чувств. Да и вряд ли взрослые, чьи мысли и поступки непременно верны, станут меня слушать, – упрямо продолжила не взрослеющая Лизи, – ведь я не облачена – для пущей важности – в *белый халат*, плотно облегающий высокую грудь, узкую талию и крутые бедра. Непокколебимые в своей правоте, они не устанут причинять тебе боль, делая вид, будто ничего не понимают. И ведь невдомёк им, убогим, что они *действительно* ничего не понимают, ибо без главного понимания – зачем люди пишут книги, сочиняют стихи, рисуют картины – не понять и всего остального! Пусть мои рисунки не соответствуют действительности – формам, контурам, цветам – пусть я заведомо „лгу людям“, зато эта ложь является единственно возможной правдой для меня, другой я не знаю, не зала и не узнаю. Жаль только, что мои родители, самые близкие люди, меня совсем не понимают. Они – единственные, кого я бы не стала рисовать, и не потому, что сержусь на них, просто они мне неинтересны. Сгинуло прочь скоротечное лето, пожухли краски их молодости, и наступила тягучая осень... они давно уже не люди, лишь сборник правил, законов и предрассудков – безликие тени в мутно-серой столовой жизни, смиренно довольствующиеся едой и питьём. Хочешь знать причину, почему я рисую? Так я лучше чувствую мир людей, осезаю его боль или радость, восхищаюсь окружающей меня красотой. Именно через

рисунки я признаюсь миру в любви. А знаете что? – воскликнула она, выплёскивая через край последние эмоции: – Всё-таки я куплю себе белый халат, уже очень скоро, – когда постарею и пойду к палачу!»

Мне кажется, что рано или поздно взрослые всё-таки прислушались бы к словам Лизи, если б она почти совсем не пила вина. На деньги, которыми откупались от неё родители, ей приносили выпивку прямо в палату; можно сказать, она у неё не переводилась. Медицинский персонал делал вид, как будто ничего не происходит. И вряд ли что-нибудь произойдёт. Впрочем, нужно отдать должное, пить Лизи умела. Она могла упиваться всю ночь, а на утро следующего дня источать покой и свежесть. Впрочем, случались и критические сцены, полные драматизма и накала страстей, когда охваченная дурным настроением, переходящим в неуёмную плаксивость, она становилась совершенно невыносимой. Запивая пригоршни таблеток алко-голем, прячась от вездесущей реальности и незабываемых переживаний, – ей казалось, где-то плачет ребёнок, – она нервно вскакивала, подбегала то к окну, то к двери, а затем возвращалась на место. Вместе с ней мы испуганно прислушивались к неразборчивым звукам, пытаясь хоть что-то уловить, но тщетно – стояла такая тишина, что душа уходила в пятки. Кстати сказать, именно Лизи познакомила нас с алкоголем. Впервые мы попробовали «дары волхвов», как она их называла шутливо, спустя пару месяцев после нашего знакомства. Известное дело, от первого же стакана дико закружилась голова, мы упали навзничь и долго не могли подняться, металась по кровати, свесив ноги на пол, а Лизи дразнилась и безудержно хохотала; вскоре, впрочем, всё это ей изрядно надоело, и она занялась привычным делом – раскраской в жёлто-синий цвет своих бледнолицых рисунков. Но едва только мы приподнялись с кровати, ещё хмельные, с заболоченными глазами, как она подскочила вплотную к нам, наполняя воздух на метр вперёд запахом гнуснейшего перегара, и спросила: «А знаете ли вы, что публичные поцелуи воспринимаются людьми как личные оскорбления?» Сомневаюсь, что её вообще интересовал наш ответ. «Представьте себе, – продолжила она почти без паузы, – парни терпеть не могут, когда девочки слюнявят им рот. Да-да, – кивнула она головой, как бы подтверждая, что слова её правдивы, – им нравятся умелые и опытные женщины. Думаю, вам бы тоже не помешало кое-чему подучиться». И она приступила к *учёбе*. Плотнo дотрагиваясь до наших губ и чуть ли не жуя их, она задорно повторяла: «Вот так, понятно? Вот так!» И вот когда нас постиг успех, и вроде бы стало получаться, она вдруг резко отстранилась и крикнула через боль: «Вы что творите? Совсем очумели!»

Мы так и обомлели – то ли от страха, то ли от неожиданности, а точнее сказать, от абсурдности происходящего. Лизи тем временем отошла к окну, села на подоконник, свесив ноги и, глядя куда-то в лес, проговорила: «Весь этот мир – будто огромный дом умалишённых, где несчастные только и заняты тем, как сделать наибольшую глупость или повредиться в рассудке быстрее остальных». И повернувшись к нам, иронично добавила: «Поздравляю, сегодня главный приз – ваш!» Затем в лице её поселилась мечтательная грусть, через которую пробивались дерзкие глаза; немного погодя она разрыдалась, затем начала метаться из угла в угол и выкрикивать бессвязные слова, потом вдруг остановилась, закрыла глаза руками и неожиданно заговорила, всё повышая и повышая голос, постепенно срываясь на крик: «Глупые девчонки, разве вы не видите? С этим уже ничего нельзя поделать! Мы продолжаем надеяться, верить и ждать, пытаемся стать добрее, но итог всегда один – хорошие или плохие, мы все сыграем в деревянный ящик!» Прибежавшие на шум медсестры, долго и безуспешно попытались успокоить её, – без остановки, как заведённая, но поломанная игрушка, Лизи бегала от двери к окну и обратно, – а когда её всё-таки поймали за руки, принялась брыкаться и лягать ногами, словно дикая кобылка. Казалось, сил её хватит на десятерых. И только после того, как в нашей маленькой палате собралось полдюжины грубоватых врачей, её смогли скрутить и вколоть снотворного; минутой спустя Лизи обмякла и провалилась в сон. После того происшествия мы довольно долго не виделись: Лизи лежала в другом корпусе на специальных процедурах, а её рисунок –

в тумбочке у изголовья нашей кровати. И когда мы встретились снова, она даже не вспомнила о нем; и мы не вспомнили тоже.

Мы обедали в столовой, когда Лизи подошла к нам и сказала: «Как же я вам завидую! А знаете почему? – Мы недоуменно переглянулись, будто пытаюсь понять, не произошло ли с нами за ночь нечто примечательное и выдающееся. Однако всё оставалось как прежде, как раньше, как всегда. – Вы никогда не останетесь одинокими. Вы никогда не заскучаете. А ведь реалии жизни таковы, что одиночество неизбежно. Но вам это не грозит!» Я спросила её, что такое одиночество, почему люди становятся одинокими, как можно жить в одиночестве? «Люди одиноки, потому что горды, эгоистичны, категоричны и не уступчивы, – немного помедлив, ответила она. – Большинство людей притворяются, будто любят кого-то, а на самом деле любят только себя. Вместо того чтобы признаваться в любви друг другу, они задают дурацкий вопрос: „Как сильно ты меня любишь?“ или „За что именно ты меня любишь?“ На самом же деле все эти прекрасные чувства, которые они будто бы испытывают, основаны в значительной степени на фантазии – обыкновенной выдумке, вымысле, игре воображения. Иногда людям хочется, чтобы кто-нибудь оказался рядом. Но заполучив человека, как вещь, не посвящая себя в ответ – они ничего не приобретают. За нежностью ночи, наступает тусклый рассвет, любовь-иллюзия угасает, появляется отчуждение и скука, обрекающие людей на ещё большее одиночество. Любовь – это не только единение и сохранение, это ещё и созидание». Порой мне кажется, что за короткое время нашего общения с Лизи мы узнали гораздо больше, чем за всю свою никчёмную жизнь.

Впрочем, остальные обитатели пансионата видели нас именно такими, какими мы и являлись в действительности, и какими впервые увидели себя сами много лет назад. Ранее нам не доводилось сталкиваться с большими зеркалами, врачи в нашем присутствии намеренно пользовались маленькими или складными, пока не наступило «время Ч» – час великого эксперимента. Я хорошо помню тот день, когда в кабинете Ивана Борисовича появилось огромное зеркало, величиною с рядом стоящий шкаф. Рама светилась по краям мягким голубоватым свечением и подмигивала хрустальным глазом. Нас подвели к нему почти вплотную и оставили наедине. Ты начала улыбаться, гримасничать, отчаянно жестикулировать, а мне сразу же захотелось бежать, бежать прочь ото всех... и от тебя тоже. Пол буквально ушёл из-под ног, голова закружилась, едва я осознала со всей полнотой, почему всё *так не ладится* в нашей жизни. С самого раннего детства все люди вокруг делились на тех, кто либо смотрел на нас с любопытством, либо растерянно улыбался, виновато опуская глаза, либо шурился и приглядывался, будто желая убедиться в том, что мы – не муляж, но тарасились все! Все и каждый, без исключения. Лишившись равновесия, я повалилась на пол, утащив тебя за собой. Помню, что сильно ушибла левую коленку и правый локоть, слёзы ручьями потекли из глаз. К тому времени мы уже видели себя в отражениях окон и в стеклянных дверцах медицинских шкафов, но случай со светящимся зеркалом показался мне самым мучительным, а если ещё точнее – нравоучительным! Медперсонал никак не комментировал происходящее, хотя смотрел на нас внимательным взглядом; и только невозмутимый Иван Борисович что-то увлечённо записывал в свой роскошный – с кожаными вставками – блокнот. Пол был жутко холодный, и ты немедленно попыталась подняться, мне же хотелось только плакать. Душа кричала и требовала ответа, но ответа не находилось; силы меня оставили, я безжизненно лежала, как будто в знак протеста, и отказывалась вставать. «Интересный случай», – победоносно усмехнулся Иван Борисович, продолжая методично писать, потом встал перед всеми и зачитал, – так прокурор зачитывает вслух обвинение в убийстве: *правый пациент* демонстрирует явные признаки моторного бессилия, из которых следует... – в дальнейшем так объяснялись любые разногласия между нами. Наконец кто-то из врачей помог нам подняться, и нас отвели обратно в палату. Лишь теперь я вижу всю иронию нашего положения, настоящее моё зеркало – это ты. Только ты всегда меня понимала и всегда знала, чего я хочу, угадывая самые сокровенные мои

порывы, и отвечала на них с удивительной точностью. Вот бы все люди на свете превратились в такие же точно зеркала.

Сложно сказать, в каком возрасте меня начали посещать пророческие сны, в которых я оставалась одна. С одной стороны, я чувствовала тебя где-то рядом – всегда близко; с другой, каждая была сама по себе – раздельно друг от друга. Пожалуй, только во снах мой собственный мир проявлялся в полной мере, становясь по-настоящему зримым. Я уверенно бегала по блестящим лужам, каталась со снежной горы, летала и падала с небесной высоты и, кажется, отчаянно орала, а потом вдруг оказывалась в заколдованном замке, полном неизвестности и тайн. Обретённое чувство свободы создавало ощущение вольности, лёгкости и уюта, пока ноги не переставали слушаться и не подкатывала дурнота; тогда я обычно спотыкалась и падала, проваливаясь в пустоту, а проснувшись, всегда находила тебя мирно спящую рядом, какой вижу прямо сейчас.

Я плохо помню теперь все подробности того жуткого августовского утра. Мы сидели в своей комнате, вслух читая сказку о крошечном малыше с золотыми волосами³. Мальчик искал барашка; потом он встретил лётчика на белом самолёте, и лётчик нарисовал мальчику барашка в коробке, намордник, чтобы барашек не съел цветок, и даже поводок, чтобы животное не убежало. Книга закончилась тем, что ребёнка укусила змея, после чего он умер. Смерть должна была вернуть его туда, откуда он пришёл – людей смерть возвращает земле, а малыша с золотыми волосами она вернула звёздам.

Размышляя над сказочной историей, мы слышали противоестественную суету в бесчувственных коридорах пансионата, людской гомон и торопливые шаркающие шаги. Отложив книгу в сторону, мы вышли наружу и последовали за необычными звуками, словно крысы за волшебной флейтой; и почти сразу наскочили на лечащего врача, – да уж, опасно шататься по морскому дну, легко наткнуться на акулу, – который заорал на нас и велел вернуться в свою комнату. Нам ничего не оставалось делать, как послушаться авторитетного приказа. Вскоре из окна своей палаты мы увидели машину скорой помощи и людей в белых халатах с носилками в руках; там явно происходило что-то неладное. Утомившись сидеть у окна, мы украдкой заглянули в столовую в безнадежной попытке расспросить кухарок о случившемся, но те хранили глухое молчание. Пришлось снова вернуться в палату и опять сесть у окна. Нас одолевали неприятные предчувствия, от которых мы были не в силах избавиться, как ни пытались. Случилось что-то непоправимое; я чувствовала это и оказалась права: в то дождливое августовское утро бедная Лизи выбросилась из окна. Очевидно, мы действительно очень безобразны, если все нас бросают.

Лизи была слишком хрупкой, чрезмерно ранимой и очень чувствительной, чтобы стать когда-нибудь *взрослой*. У неё была такая же золотистая копна волос, как у того малыша из книжки, а её *полет* из окна явился ярким возвращением к звёздам. Мы плакали всю ночь, а утром ты сказала наставительным тоном, что нам давно пора стать взрослыми и выбрать в жизни свой собственный путь, отличный от того, который выбрала Лизи, а в конце добавила: «А теперь пообещай, что мы больше никогда не будем плакать вместе». Думаю, в ту ночь мы действительно сильно повзрослели и опять остались одни.

Однажды Лизи увидела, как мы спускаемся по ступенькам. Такое простое для обычных людей действие мы старались выполнять осторожно и слаженно. Примериваясь, мы синхронно спускали по очереди ноги – сначала левую пару ног, потом правую – поддерживая друг друга.

– Боже мой, и чёрт меня подери! – воскликнула она, и её мечтательно расширенные голубые глаза, всегда выражавшие неизменное удивление, сделались ещё шире. – Я не перестаю удивляться, как далеко заходит жизнь в своей нецелесообразности. Сама судьба кладёт нам

³ Речь идёт о сказке: Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». (Прим. автора.)

в руки возможности, таланты, одаривает щедро, и... – она выдержала зловещую паузу, как бы нагнетая напряжённость, и затем продолжила: – с какой непринуждённой лёгкостью мы жертвуем этими священными дарами ради удобной, сытой и ничем не примечательной жизни, которую мы всё равно не ценим. Нам дано всё, казалось бы, бери и твори, но нам это не нужно. Вся наша жизнь сводится к физическому комфорту средней обеспеченности, праздной лени и сытым животам. Но у вас всё иначе – даже простые вещи вам даются с трудом и это *правильно*. Если бы все люди были такими же сильными и целеустремлёнными, как вы, то кто знает, может, тогда они смогли бы действительно повзрослеть? Мы должны быть благодарны вам за то, что вы существуете!

После несчастного случая родители погибшей девушки устроили жуткий переполох. Внезапно в высших инстанциях всерьёз забеспокоились, что в специализированном пансионате закрытого типа, наслаиваясь один на другой, будто плохо пропечённые коржи, обретаются люди с совершенно разными формами заболеваний. И это приводит к неожиданным последствиям, – а именно к тому, что мы имеем крайне искажённый взгляд на мир, в котором некоторым пациентам уготовано выпадать из открытых окон и при этом разбиваться насмерть, как бьются волны о скалистый берег, и всё это происходит как будто нарочно. Медперсонал в один голос утверждал, будто Лизи упала совершенно случайно, сорвавшись с мокрого карниза, но это не помогло. Одних врачей уволили, других перевели, большинство пациентов расформировали по другим пансионатам, а двух сросшихся близнецов, Веру и Надежду, перевели в интернат для детей с проблемами моторики. Что стало с рисунками Лизи – сожгли ли их, отдали ли родителям, или же они до сих пор хранятся в ссохнувшейся тумбочке около её кровати – этого я никогда не узнаю. Никогда! У нас сохранился только один – тот самый, который она забыла в нашей комнате; в верхнем правом углу красовалась надпись: *Негожихи*. Кажется, Лизи его даже не доделала – как и всё в своей жизни, – но нам он казался самым прекрасным из всего увиденного. В сущности, всё, что она делала, было прекрасным и удивительным... или почти всё. Однако если вы хотите жить спокойно и долго, вам *не стоит* быть таким человеком, какой являлась Лизи.

Порядковые номера

У выхода нас ждал миниатюрный микроавтобус с красным крестом на боку, похожим на заплатку. Широколицая сотрудница пансионата с заспанным лицом и узким, сильно покатым лбом, шла поодаль от нас, держась на расстоянии. Солнечный круг едва выкатился из-за горизонта, всем своим видом обещая новый ласковый день, а ласточки провожали нас скрипучим чириканьем. Долговязый мужчина средних лет тёрся у машины и смиренно наблюдал за происходящим. Несмотря на тёплый сентябрьский день, одет он был в шерстяные штаны и кожаную куртку, испачканную в мазуте. Заметив нас, он изумлённо побледнел, вытянулся в струнку, как будто ловил уходящие тени и, став в два раза длиннее и тоньше.

– Вот так дела, всякое тут у вас навидался, но шобы такое, – гаркнул он зычным басом и смачно харкнул на землю, случайно заплевав свой рукав.

Сопровождавшая нас сотрудница пансионата, лишь досадливо отмахнулась и, протянув ему какие-то бумаги и нашу сумку с вещами, кратко изложила суть вопроса:

– Весёлая у тебя будет поездочка, милый, – и, подняв вверх указательный палец, назидательно объяснила: – До сих пор не привыкла к этим двум. Когда они малявки, то ещё ничего, но когда они всё-таки вырастают, – а вырастают все, тут уж ничего не поделаешь, – то не улетают на юг как дикие утки, а остаются дома и гадят, точно соседские куры. Ты сегодня во сколько освободишься?

– Ну, я это... – заблеял долговязый и, будто тлеющая сигарета, стал укорачиваться прямо на глазах, – сначала отвезу их по адресу, а потом заеду в мастерскую на базу, шо-то подвеска опять выдрючивается.

– Так мне ждать тебя или не ждать? – сердито всплеснула руками широколицая.

– Ну да, наверное, – немного неуверенно ответил долговязый. – Постараюсь успеть к семи, а потом... ну, я это... рвану к тебе. Так шо будь готова к подвигам, стахановка⁴.

Стоя буквально в двух шагах от взрослой жизни со всеми её ежедневными хлопотами и заботами, мы ощущали себя бесконечно чужими на этом празднике жизни – бестелесными призраками, на которых махнули рукой, потом забыли и, наконец, потеряли. Между тем долговязый водитель крепко обнял свою «боевую подругу» и, схватив её выпуклости ниже спины, уныло добавил напоследок:

– Ну, что ли жди.

Взглянув на нас в последний раз, едва сдерживая гнев и неприязнь, широколицая недоверчиво передёрнула плечами и, поморщившись, улыбнулась.

Очень деликатно, точно опасаясь, что мы распадёмся на части, водитель помог нам забраться в машину, поспешно сел за руль и рванул с места.

Какое-то время мы ехали молча. Потом, должно быть, не выдержав воцарившегося в кабине молчания, долговязый деланно усмехнулся и приступил к расспросам. Его интересовало буквально всё: дружно ли мы живём с сестрой, если мы конечно сёстры, чем нас кормили сегодня на завтрак, учились ли до этого в институте, умеем ли мы плавать и рисовать. Но больше всего его волновало следующее: нужно ли нам обеим получать водительские права или только одной, и как мы вообще планируем водить машину в таком *щекотливом* положении, если всё-таки получим эти права – как решим, кому жать на газ, а кому на тормоз? Мы отвечали осторожно, обдумывая каждое слово, а едва коснулись вопроса *прав* – как сразу увязли и беспомощно замолчали. Впрочем, долговязый не особо стремился получить ответ и, изящно

⁴ Стахановец – работник социалистической эпохи, который в социалистическом соревновании добивается наивысшей производительности труда, наилучшего использования техники и превышения производственных планов путём преодоления старых технических норм и существующих проектных мощностей. (Прим. автора.)

высморкавшись в рукав мешковатой куртки, завершил зашедший в тупик разговор. Однако и молчать он не собирался. Вскоре выяснилось, что он женат! А поэтому, – понизив голос, поведал он без принуждения свыше – больше увлекается научными книжками, чем своей «стахановкой». Что поделаешь, люди – существа любознательные.

Далее – стремясь продемонстрировать свои бесценные знания, очень сбивчиво и торопливо он поведал нам, что время на самом деле относительно и для каждого течёт с разной скоростью, однако разница эта ничтожна и поэтому не так заметна, что не отменяет, впрочем, обычных житейских реалий: из правил всегда бывают исключения. И он, долговязый, – из их числа! Затем он горько вздохнул и, задумчиво почесав затылок, вдохновенно продолжил: «Например, моя сестра старше меня на два года, а выглядит моложе лет на десять-двенадцать. Выходит, она стареет медленнее, намного медленнее меня. Это ж, ёптеть, а ты говоришь, не может быть». На самом деле мы ничего ему не говорили, но слушал он, кажется, только себя. «А вот, к примеру, кабы одна из вас вдруг принялась стареть гораздо шибче второй, то годов через двадцать вряд ли бы вы были друг на друга похожи. И, глядячи на вас, люди бы думали, шо одна из вас – мама, а другая – дочка», – заключил он сочувственным тоном и устало зевнул. Я попыталась представить себе нарисованную им картину, но меня покорило от одной лишь мысли об этом. Жить вместе с непреодолимым различием во взглядах – это же настоящий кошмар. Весь смысл в том, что мы растём вместе и получаем опыт одновременно. Но здоровяк поспешил нас утешить: «Ладно, не переживай, очень вероятно, ничего такого с тобой не случится. Далеко не для всех так убыстривается время. На самом деле это очень даже большая редкость, к тому же тебе и так уж сильно не сvezло, а молния, как известно, в одно место не шарахает дважды».

Странный дядечка, ничего не скажешь; и всё-таки мне он чрезвычайно понравился. Всю оставшуюся дорогу до интерната, пролежавшую через сельскую местность, он улыбался, шутил, даже учил нас водить машину, терпеливо объясняя, как правильно держать руль и какой ногой давить на тормоз. Я слушала его с должным вниманием, стараясь уловить каждое слово, ты же смотрела совсем в другую сторону, увлечённо разглядывая стада коров или сгорбленных бабушек у водяных колодцев. Я моментально улавливала в тебе эту умиротворённость, и все увиденные тобой пейзажи возникали и в моей голове.

Поездка заняла у нас несколько утренних часов. По мере приближения к интернату я вдруг запаниковала и уже была готова вопить во всё горло, но ты взяла меня за руку и крепко её сжала, словно говоря мне: «Я с тобой». Мысли о новом месте всегда пугали нас и вызывали чувство тревоги; можно было бы с уверенностью предсказать: там, где нас не ждут – нам не будут рады. Начался говорливый ливень с градом и, крупной дробью размером с горох, забарабанил о лобовое стекло. Здоровяк включил растрёпанные дворники. Впереди засиял лоснящийся свет, и раскрылись в приветственном объятии дрожащие руки деревянной лачуги. Подъехав ближе, мы увидели заспанного сторожа, вяло открывавшего нам центральные ворота. Долговязый через стекло показал ему какую-то бумагу; сторож авторитетно кивнул головой и поскрёб шершавую щеку. Мы поехали дальше по грунтовой дороге, петляя среди дубовых и липовых аллей; наш волнительный путь подходил к концу. Здание интерната оказалось именно таким, каким я и представляла его с самого начала: старая кирпичная постройка с белыми стенами в несколько этажей, на нижних этажах окна зарешечены, рядом к постройке вплотную прилегали такие же точно типовые здания. Дождь сменился мелкой моросью, многолюдный град иссяк и прекратился. Здоровяк порывлся под соседним сидением и, достав оттуда замызганную простынь, добродушно протянул её нам.

– Ну, ты это, укройся что ли. Дождит, – пояснил он коротко и виновато улыбнулся.

К нам подошла женщина в белоснежном с голубою проседью халате, обычная женщина средних лет, с розовыми складками на шее, огромным бюстом и тоскливым взглядом. Обменявшись с долговязым водителем несколькими краткими, но очевидно очень содержательными

словами, она забрала у него бумаги и, взглянув в нашу сторону безо всякого любопытства, рассеянно спросила:

– Вы ходячие?

Мы недоумённо переглянулись, взглянули на неё и кивнули в ответ.

– Следуйте за мной, – ответствовала она монотонным безликим голосом. Накинув простынь на плечи, и прихватив свою сумку, мы вышли из машины.

– Ну, лады, красавица, тогда я погнал, – бросил нам на прощание долговязый водитель, ловко запрыгнул в машину и, тронувшись с места, поскрипел в неизвестном направлении: то ли к книгам, а то ли к «стахановке».

Мы медленно поплелись по чвакающей жиже. В окнах ближайшего здания я заметила детские лица, пристально следившие за каждым нашим шагом. Между тем дождь перестал, тучи рассеялись, но избавляться от грязной простыни, способной уберечь нас не только от непогоды, но и защитить от любых неприятностей, мы не спешили. Наконец мы переступили порог и поднялись на третий этаж. По пути нам встретились две юные девушки, не удостоившие нас вопреки ожиданиям зловещим, презрительным взглядом – хороший знак! Одна из них, бедняжка, с трудом передвигалась на коротеньких ножках, всем телом опираясь на плечо своей подруги. Мне даже показалось на мгновение, что именно здесь мы встретим надёжный приют, и тогда начнётся новая счастливая жизнь. Но это было лишь мгновение, за которым опять наступил непроницаемый мрак. В конце коридора нас ожидала дверь с надписью «Директор». Мы неуверенно переступили порог и замерли в нерешительной позе, увидев перед собой удивительной красоты женщину лет тридцати пяти. Она восседала за письменным столом и, оттопырив левый мизинец, величаво вынимала конфеты из коробки длинными изящными пальцами, клала их в рот и запивала чаем. Она обладала высоким лбом и огромными голубыми глазами, яркими, пронзительными, точно прорисованными фиолетовым фломастером; чёрные волосы – аккуратно уложены в строгую причёску. Визуальный образ довершали пухлые губы, вздёрнутый нос и капризная складка между бровей – точно такая же, как у Лизи. Даже пахло от неё как-то по-особенному приятно.

– Вот их документы из пансионата, – сообщила сопровождавшая нас сотрудница, – история болезни и свидетельство о рождении.

Некоторое время красивая дама изучающе смотрела на нас, потом равнодушно пролистала документы, а торвавшись, сердито заметила:

– Так-так, Марфа Ильинична, ну и что же мы будем с ними делать?

На что Марфа Ильинична неуверенно пожала плечами и робко предположила:

– Лечить и учить, Инга Петровна, наверное, как и всех.

– Их не сюда нужно было везти, а в зоопарк, вот там наверняка они принесли бы существенную пользу.

В её ровном и рассудительном голосе сквозили ледяные нотки, выразившие брезгливое отвращение. Затем она ещё раз взглянула на наши бумаги, вероятно, желая окончательно удостовериться в их действительности, несколько раз провела рукой по глазам, как будто давая им привыкнуть и, наконец, изрекла:

– Неприятное зрелище, Марфа Ильинична. Досадливо неприятное!

Мы сразу же почувствовали себя лишними в её кабинете. Даже выдавшая виды Марфа Ильинична, оказавшаяся заведующей женским отделением, невольно отвела взгляд в сторону и застенчиво потупилась, разглядывая белоснежные оборки халата.

– И во что мне их одевать? Обычная одежда не подойдёт, прикажешь шить им на заказ? Как вообще называется это чудо?

Ты вдруг неожиданно осмелела и отрывисто выпалила:

– Здравствуйте, Инга Петровна. Меня зовут Надежда, а мою сестру – Вера.

Директриса бросила испытующий взгляд, немедленно обвинивший нас во всех проступках – прошлых и будущих, включая, прежде всего, сам факт нашего появления на свет, и сухо подытожила:

– Слишком долго запоминать. Ты будешь – Раз, а ты, – и она указала на меня, – ты будешь – Два.

Раз-Два! Это даже не кличка, а порядковый номер или расчёт в строю. Мне сразу вспомнилось, как однажды Лизи назвала нас Грация и Загадка. Комок подкатил к горлу, и мне стоило большого труда не разрыдаться прямо в кабинете.

– Ну всё, Марфа, веди их на первичный осмотр к Петру Ильичу, а потом в душевую, – нетерпеливо объявила директриса, – и сними, наконец, с них эту грязную тряпку.

– Следуйте за мной, – подытожила Марфа Ильинична, неуверенно переступая с ноги на ногу. – Ну же, пошли!

Очевидно, мы совершенно не понравились Инге Петровне. Жалко, не было рядом того милого долговязого водителя, что привёз нас в интернат. Он с таким запалом рассказывал нам про относительность времени, что, верно, и сейчас нашёл бы подходящие случаю слова. Быть может, он бы вступил в публичную полемику с величавой директрисой, стремясь убедить её не верить всему, что видишь и не делать поспешных выводов о том, кого не знаешь. Увы, теперь он уже был далеко, и мы снова почувствовали себя брошенными.

Ещё мгновение – и мы уже шли по холодному коридору в сопровождении Марфы Ильиничны, сердца наши колотились от неизвестности. По пути нам попадались парни и девушки, беспорядочно слонявшиеся между палатами; некоторые из них были совсем уже взрослые и вполне самостоятельные. И вдруг в голове моей промелькнула мысль: «Что, если хмурая Инга Петровна и все эти ребята в коридоре, может, из вредности, а может, и шутки ради, безупречно подражающие нашим движениям, – всего лишь сон. Обыкновенный сон и ничего более!». Но мы не спали. «Шутники» в коридоре, с которыми нам предстояло учиться бок о бок и вместе проживать ближайшие годы, имели страшный диагноз – детский церебральный паралич. Некоторые из них ходили на костылях, другие катались в инвалидной коляске, но большинство передвигались сами, волоча за собой непослушные ноги. А вот совсем здоровых людей, не испытывающих видимого дискомфорта при ходьбе, среди них не наблюдалось.

Пётр Ильич оказался сутулым, сморщенным и глуховатым старичком. Густая и шелковистая перхоть на его плечах напоминала следы недавно сорванных погон. Сорок лет назад он принимал участие в Великой Отечественной и даже заслужил звание Героя. Хотя на тот момент возраст Петра Ильича перевалил за семьдесят, на пенсию уходить он не собирался, объясняя это тем, что ещё не воздал своей отчизне сполна. Год назад умерла его жена, а единственная дочь давно уехала в столицу.

Проявив неподдельный интерес к уникальному феномену в нашем лице, хрустя коленками и заложив руки за спину, он трижды обошёл вокруг нас – один раз по часовой стрелке и дважды против, восторженно провозглашая: «интересный случай». А поставив нас на весы, вдруг громогласно и жизнерадостно заявил: «Мать моя, родина, вместе вы весите ровно столько же, сколько весила моя жена!» При этом он так сильно замотал головой, что клочковатые остатки седых волос на его голове неуклюже растрепались, а тяжёлые рогообразные очки в толстой оправе съехали на кончик носа.

– Слушай мою команду, – проорал он так, будто вёл в атаку целый батальон. – Приходить ко мне раз в неделю на контрольный осмотр. Вопросы?

Мы нерешительно кивнули головами – вроде как, да, и вместе с тем, нет. А что, если он тоже задумал опускать нас в холодную воду или того хуже – в кипящую? Мне сразу стало не по себе, я опустила глаза в пол и залилась краской от стыда и волнения.

– Отставить бояться, – сказал Пётр Ильич, хлопнув в ладоши, – страх в наше время хуже воровства. Конечно, вам здесь несладко придётся. Во-первых, новенькие, во-вторых, близ-

няшки, а в-третьих, сросшиися – ну просто клад для измывательств. Мой вам совет: наберитесь храбрости и терпения. Умейте постоять за себя.

Внезапно его как будто осенило. Погрузившись в мучительный холод лет, старик принялся измерять шагами свой врачебный кабинет и безжалостно шаркать костлявыми ступнями.

– Надо вам признаться, что по прихоти своего преглупого сердца я совершил премного безрассудств, о которых нередко сожалею, но одним из них я всё-таки горжусь. Это случилось в тяжёлые послевоенные годы, трудился я в госпитале, работал славно на благо страны. Между тем скоростижно скончался наш главный врач, и на его место поставили другого – был тот ещё прохвост, если не сказать – хуже. Он позволял себе говорить то, что не полагалось, и делать то, что ему нравилось – шуточки грязные отпускал, до баб доискивался, а бабы у нас те ещё «боевые подруги» – столько лет без мужика! Ну а потом его чёрные ручища пошли и по нашим деткам. Вы только вдумайтесь: деткам! Я сам терпеть не могу таких «художеств» и действую всегда начистоту. В общем, рассвирепел я чуток и ударил его в ненасытное брюхо, а потом ещё раз и ещё, пока он ужом извивался у двери. Следственный комитет завёл известное дело. Казалось, что дни мои сочтены, и вдруг экая невидаль – заступился за меня кто-то сверху или, в самом деле – некое чудо, уж не скажу наверняка, да только вскоре пришла благая весть: высшие власти отсылают меня в специнтернат, тогда я ещё не был здесь главным. Так что жизнь моя оказалась, в конечном счёте, не такой уж бесполезной. Всё сносно, а главное – я по-прежнему нужен стране.

Увлёкшись рассказом, он совсем забыл, что всё это время мы покорно стоим на весах; очевидно, этот добродушный забывчивый старичок просто не ведал об относительности времени.

– А теперь, бегом марш, мыться! – скомандовал он, заметив томившуюся в дверях Марфу Ильиничну.

Выйдя из душевой, мы обнаружили два комплекта одинаковой одежды – нашу ежедневную форму. Из прорезей на штанах, ловко надрезанных по бокам, виднелись две самодельные тесёмки, верхняя часть представляла собой две просторные рубашки серого цвета. Помогая нам одеться, заведующая хмуро разглядывала грязную надпись, выведенную аккуратным шрифтом, затем порывшись в бездонном шкафу, вытащила на свет две пары башмаков, стёрла со стены высокую непотребность, вздохнула с облегчением и успокоилась.

Столовая к нашему приходу совсем опустела – к этому моменту время, отведённое «интернатовцам» на ужин, подошло к концу, и все дружно разошлись по своим палатам. На ужин мы получили полную тарелку картошки с двумя тощими котлетами и две тарелки холодной ухи. Уха оказалась неожиданно вкусной, но была почему-то совсем без рыбы. И пока, голодные, мы уплетали изысканные блюда, Марфа Ильинична мило щебетала с необъятного размера поварихой – женщиной с квадратными плечами и напотевшими полукружьями в подмышках халата; наконец, обнаружив перед нами пустые тарелки, она дружелюбно улыбнулась, обращаясь к своей прямоугольной собеседнице:

– Милочка, принеси им, что ли, два чая.

Словно подчиняясь неведомому закону сохранения пищевой симметрии, берущему своё начало от безрыбной ухи, крепко заваренный чай оказался не сладким. Зато столовая впечатлила – не столовая, а концертный зал. И это неуместное сравнение оказалось впоследствии верным: иногда по вечерам скучающие медсёстры, нарядившись в красивые платья и туфли на высоком каблуке, устраивали здесь настоящие танцульки.

После неаппетитного, но сытного ужина, Марфа Ильинична фактически втокнула нас в многоместную палату и заботливо прикрыла дверь. Внутри на одинаковых койках сидели, а кто-то полулежал, разновозрастные представительницы прекрасного пола; несколько надменного вида парней сидели за круглым столом. Все неотрывно уставились на нас, проникаясь

потихоньку увлекательным зрелищем. Увы, но так происходит всегда – сначала нас пристально рассматривают, потом о чём-то беспокойно размышляют и, наконец... одна из девушек встала, и энергично шаркая ногами, подошла к нам вплотную. На вид ей было лет шестнадцать-семнадцать, рыжая, конопатая, с мясистым носом и маленькими, глубоко посаженными глазами; двигаясь суетливо, но равномерно, она подволакивала правую ногу.

– Ну и умора! Настоящий Змей Горыныч, – рассмеялась она, терпеливо обходя нас по кругу; сначала справа-налево, потом слева-направо – видимо, здесь так принято. – Рожают же таких... Как же они такие живут?

– Вот у них и спроси, – проронил один из парней и подбадривающе усмехнулся, – хоть сзади, хоть спереди смотри, ничего не поменяется: две головы, четыре руки, четыре ноги и одна жопа.

– Да ты поэт, – осклабилась рыжая. – Ну! Какое погоняло дала вам директриса? – снова обратилась она к нам. – Рогатка? Бригада? Орава?

– Меня зовут Вера, – сказала я, – а это Надя.

– Это оставьте для надписей в тетрадах. А тут всех зовут так, как их прозвала Инга Петровна, по-нашему Адольфовна. Только смотрите при ней так не ляпните, ясно? Так как вас там?

Язык словно прилип к нёбу и не поворачивался. Мы молчали бы вечно, если бы ты нас не выдала:

– Раз-Два.

Некоторое время все старательно обдумывали произнесённое тобою слово – вернее, сочетание слов, ставшее нашим прозвищем на долгие годы, – затем волна смеха накрыла всех присутствующих.

– Ну, Адольфовна отмочила, – давась от смеха, сквозь слёзы, пробубнила одна из девушек.

– Может, хватит ржать? – донеслось из правого угла. – Мы вообще-то здесь все неполноценные. А эти хоть ходячие, будет, кому утку носить.

– Заткнись, дура, хахалю своему под одеялом будешь советы давать, – огрызнулась рыжая. – А мы всё думали, койка одна, а их – аж две штуки. Меня Спринтершей зовут, потому что самая быстрая из всех ходячих ДЦПшников⁵, по паспорту – Ольга Петровна. Советчицу из угла звать Божулей, с остальными познакомитесь позже. Ну че вы всё пялитесь? Садитесь уже, – сказала она уже намного мягче и указала на вакантный предмет интерьера.

Мы послушно подошли к кособокому стулу и, немного поколебавшись, нерешительно сели. Испорченный «предмет» с треском сломался, и мы грузно грохнулись на пол, завалившись на спину. Бешеный хохот разнёсся по всему этажу. Неужели скажет литературный критик (или случайный прохожий), ситуация, когда все довольны, все смеются, может быть позорной? Ещё как может! Публичные унижения – даже заслуженные – оставляют вечные следы, подобные холмам и пещерам. Мы походили на спутанный клубок рук и ног; мне дико захотелось забиться в угол и завернуться в старую простыню, скрывшись под ней от стыда и позора. Однако этот издевательский поступок вызвал прямо противоположную реакцию с твоей стороны. Поднимая меня с пола и потирая ушибленные места, ты враждебно уставилась на обидчиков и проскрежетала сквозь сжатые зубы:

– Ну что – довольны? А на себя-то в зеркало давно смотрелись?

Станным образом твои обидные слова возымели действие, смех прекратился. Один из парней пружинисто встал из-за стола и унёс останки сломанного стула.

– Чего вы до них докопались? – снова вступилась за нас Божуля. – Грех смеяться над убогими. А если покалечите ненароком, потом же отвечать придётся.

⁵ Жарг. – дети, больные церебральным параличом.

– Ладно, – пробубнила Спринтерша примирительно, – ребята просто дурачатся, стул *случайно* оказался поломанным. Вон там ваша кровать, рядом с Полубабой. – И она ткнула пальцем в свободную койку у противоположной от окна стены.

Наша новая соседка Полубаба – изжелта-бледное разумное существо с жиденькими засаленными волосами, – как нам стало известно позже, – была полностью парализована в нижней части тела.

– А ты на нас не вали, – отозвался один из парней – тот самый «поэт» – с деревянным протезом вместо ноги. – Кто знал, что они такие *слипшиесея*? Поди, разгляди их под простыней. Налить вам водки? – обратился он к нам вкрадчиво и жеманно.

Ступая нерешительно, точно по тонкому льду, мы осторожно добрались до кровати; я скорее мешковато тащилась, держась за ушибленный бок, нежели вышагивала уверенной поступью. Тем временем ребята наполнили стакан мутной жидкостью из бутылки и протянули нам. Одним махом ты осушила половину, сморщилась, повела плечами, закусил великодушно протянутым хлебом; я недоверчиво допила остатки. От усталости на сытый желудок нас мгновенно развезло; мы грузно опустились на кровать и натянули на себя одеяло. Говорить совсем не хотелось, думать – тоже.

В интернате постоянно устраивались попойки, в которых принимал участие абсолютно каждый. Подростки практически насильно заставляли пить друг друга – дело ничуть не странное: так приятно втянуть ближнего в гадость, в которой по уши погряз ты сам. Днём бутылки прятались под подушками или в шкафах, вечером их ставили одна на другую и придвигали к стене. Ночью все склянки собирали и незаметно относили на кухню, где их тщательно прятали в холщовых мешках с картофельными очистками. Способов на самом деле было немало, но кухня являлась самым надёжным, а значит, и самым предпочтительным вариантом.

– Не свезло вам, не свезло! Это не просто хреновый интернат, а самый худший из всех, где я был. Все, кто здесь «квартирует» – всевозможные калеки со страшными диагнозами, – начал один из парней, здоровенный малый по кличке Швея, с длиннющим, уродливо сшитым шрамом под правым глазом. Слушая чужие откровения, сквозь пьяный дурман меня сверлила навязчивая мысль: «Какие у всех свинские клички. Они больше позорят того, кто их даёт, чем тех, кто их носит». – Красивая, но лютая директорша, тупые воспиталки, отвратный хавчик, – продолжал Швея заунывным тоном. – Учителя, может, и не самые плохие, но им всё по барабану: пришли, отгарабанили и отвалили. Наш корпус ещё ничего, тут почти все ходячие. А вот соседний – полный мрак, там одни лежаки и воняет смертью.

– Да и бог с ними, – встряла в разговор Божуля.

– Ну, всё уже, заткнитесь оба, – прервала их Спринтерша, затем обратилась к нам: – Родители есть?

– Родители есть, – ответили мы невозмутимо, будто нарочно передразнивая её снисходительный тон.

– Чего ж они вас сюда спровадили? – простодушно удивилась Полубаба.

– Да кто на такое смотреть захочет? – встрял в разговор «поэт» и погрозил нам пальцем.

– Детдомовки вы, – вдруг повеселела Спринтерша, – свои. Швея, разливай ещё по одной.

Иногда мне кажется, что мы с тобой – сторонние наблюдатели, неспособные повлиять на происходящее. Мы сидим в кинотеатре на соседних креслах и смотрим один и тот же фильм. Люди говорят, спорят, дерутся по любому поводу, изворачиваются и краснеют, но это всё где-то там, далеко, по другую сторону экрана.

В десять вечера громко пробили отбой и вырубил свет в палатах и коридорах. Парни нехотя встали, наскоро попрощались и поплелись к выходу, забрав с собой остатки спиртного.

Всю первую ночь я проплакала, затыкая рот подушкой, стараясь никого не разбудить. Сказать, что мне было плохо – значит, не сказать ничего. Именно в тот самый день я впервые познакомилась с самым *уродливым человеком* на Земле – самой собой.

– Все несчастья похожи на снег, который непременно растает, – успокаивающе сказала ты и погладила меня по голове. – Да, нам сейчас плохо, это факт. Но всё плохое (так же как и хорошее) однажды закончится.

На каждом повороте нашей жизни, всякий раз, когда наступала чёрная полоса, я вспоминала твой совет и продолжала верить, что когда-нибудь зима закончится и наступит долгожданное лето.

Несправедливость как норма жизни

Наше первое утро в интернате как обычно началось с неприятностей и бытовых проблем. Острая стрелка на круглых часах, пущенная умелой рукой, бессильно вонзилась в цифру семь. Включилось радио; из квадратных динамиков, объединяя время с пространством, послышался голос диктора. Молодцеватым жизнерадостным голосом, будто проявляя материнскую заботу, он трогательно сообщил, сколько прожито счастливых мгновений и сколько ещё предстоит, потом нехотя, точно уступая место старушке, отдал право голоса утренней гимнастике. Мне стало вдруг стыдно, неловко и бесконечно обидно: получалось, что вставая в восемь утра в пансионате, мы просыпались последними в огромной разнообразной стране. В то же самое время две палатные нянечки с жилистыми руками выдернули Полубабу из соседней кровати, как выдергивают редиску с дачной грядки, подняли, усадили в инвалидное кресло и покатали по бесконечным коридорам, ловко лавируя между разбросанными костылями. Как одинокая белая муха, в палату впорхнула Марфа Ильинична и, рассеянно улыбаясь, скомандовала, затем повторила громче и, наконец, отрывисто проорала:

– Подъём! Сначала – зарядка, потом – умывание. И не заставляйте меня *повторять дважды*.

Ещё не совсем проснувшись, мы нескладно потащились к умывальникам и, как будто расправив магические крылья, превратились в предмет всеобщего любопытства – уж в этом мы настоящие чемпионы. Очевидно, должно произойти нечто невообразимое, чтоб всем вдруг стало *не до нас*.

– А я-то грешным делом подумала, что вы мне померещились, – расплылась в ехидной улыбке курносая с впавшими щеками Божуля. – Зубной порошок есть?

– Есть, – отозвались мы беспечно и отсыпали ей половину.

– Ненавижу утро и особенно типовую зарядку у Пржевальской, – промычала она сквозь зубную «кашу» во рту. – Да и сами процедуры... впрочем, Бог с ними. Надо – значит, надо.

– А я и процедуры ненавижу. Зачем они нужны, если ни черта не помогают? – проворчала одна из прочих, трясущимися руками давившая прыщи на обвислом лице. – Коль родилась кривой, так и подыхать кривой. Оставили бы нас в покое – нет, чёрт возьми, ходи сначала на уколы, потом на чёртовы процедуры, будто каторжный.

– Харе чёрта вспоминать, – натужно процедила Божуля, сплёвывая порошок в разноцветную от ржавчины раковину. Разговор явно не клеился, и каждый занялся своим делом.

Банальный поход в туалет превратился в тягостную пытку. Удушливая вонь туалетных кабинок, въедавшаяся в нос и глаза, удваивалась с каждой минутой. И к этому, вопреки всякой логике, невозможно было привыкнуть. А поскольку нам присвоили статус «новобранцев», в очереди мы оказались последними. Добрых четверть часа мы терпеливо вдыхали ароматы метановых испражнений, борясь с тошнотой и гнетущим страхом, будто кто-то помочился на наши ботинки. На первый утренний урок мы естественно опоздали. Путь до спортзала оказался не близким. Пришлось преодолеть несколько этажей, а потом сломя голову нестись – в нашем случае неспешно тащиться – с встревоженными лицами вдоль по мешковатому коридору. У входа в спортзал мы услышали звуки командирского свистка, прерываемые скрипучим, но властным голосом.

– Слушай мою команду. На месте шагом марш! Двигаемся-двигаемся, ушлёпки, держим дистанцию. Дистанцию держать! Не наваливаемся, не кучкуемся, шире шаг. Эй, кому говорю, задохлики, шире шаг, шире! Равняйся! На месте стой, раз-два. Руки подняли вверх, глубоко вдохнули, опустили руки – выдохнули, дышим. Грудью дышим, грудью, раздолбаи. Приступаем к приседаниям. Сели-встали, сели-встали. А ну живо сесть! Я сказала сесть, не наклониться.

В спортзале царил гнетущая атмосфера «психбольницы». Обычная, ничем не примечательная женщина, вольготно раскинувшись в зубоорачебном кресле, отдавала спортивные команды, больше походя на набор бессвязных точек и тире. В правой руке её с неповторимым изяществом стонал и заливался неугомонный свирепый свисток. Вокруг неё и немного поодаль копошилось великое множество безнадежных калек, превращённых тёмной магией свистка, в безвольных марионеток. Некоторым «пациентам» упражнения давались относительно легко: они вяло выпячивали корпус, произвольно наклоняли голову и, жутко прогибаясь в коленях, пытались присесть; однако большинство несчастных подростков выполняли такие движения, которые я даже не решаюсь описать. Скорее это походило на молчаливую истерику, чем на повседневную реабилитацию детей-инвалидов. Нечего и говорить, что это было зрелище не для слабонервных: дети корчились, извивались, ломались и тряслись, убедительно изображая карикатурные иллюстрации и советские плакаты против алкоголизма.

– На месте бегом марш! – скомандовала Пржевальская, закрепив команду визгливым свистом. – Побежали-побежали. Бежим на месте, не ковыляем. Глаза б мои вас не видели, квазимоды.

Вот кому нужно работать на радио. Такая женщина поднимет и мёртвого – если не она, так командирский свисток. Когда Агафья Петровна, – так звали учительницу по физкультуре, – наконец заметила нас, то чуть не бросилась в нашу сторону, – то ли от радости неожиданной встречи, то ли от непроходимой скуки, – с трудом удержавшись на насиженном месте.

– Вы чё тут – особенные что ль? – забасила она, моментально приходя в негодование. – А ну-ка, быстро в строй! Считаю до двух – раз, два.

Под торжествующий злорадный хохот мы органично влились в коллектив, поспешно присоединившись к общему «мероприятию», будто только нас и не хватало для создания наглядной картины полного спектра опорно-двигательных нарушений.

– Ускорили шаг. Шаг ускорили. Быстрее, ещё быстрее, – энергично подбадривала «физкультурников» азартная Агафья Петровна, пока взор её не упал на жалкого калеку в коляске: – Эй, дрыщ криворукий, чё ты клешнями людям в рыла тычешь! Смотри, я твою рожу запомню, дождёшься у меня. В обратную сторону – шагом марш! Идём скорее, выше колени, колени выше. Не симулировать, колченогие, сказала, не симулировать. На месте стой, раз-два.

В критическом напряжении я чувствовала, как старательно ты выполняешь все упражнения, и стремилась повторять за тобой. Наша первая в жизни «строевая гимнастика» пролетела почти незаметно, и вскоре мы уже сидели в огромной столовой, заняв два стула на всякий случай. К нашему виду, казалось, все давно привыкли, и только Спринтерша, воинственно сгорбившись, временами бросала недоверчивый взгляд. И это понятно – сидя за высоким обеденным столом, мы смотрелись как два обычных человека.

На выходе из столовой мы столкнулись с Марфой Ильиничной.

– Пётр Ильич заключил, что у вас имеются врождённые серьёзные отклонения от нормы, которые затем не перерастут в более серьёзные заболевания. Назначения: чередование физических и умственных нагрузок и электрофорез.

Мы машинально кивнули и направились в процедурный кабинет. Физиотерапевтическая процедура, к счастью, оказалась совершенно безболезненной. Напротив нас суетилась широкогрудая, точно расплывшаяся индейка, белокурая медсестра. При нашем появлении она не проявила ни малейшего любопытства, ни удивления и, даже не взглянув на нас, едва уловимым движением руки указала на специальную кушетку; потом приблизилась всё так же молча и, включив аппарат, примостившийся рядом, молниеносно приклеила к нашим телам множество проводков на липучках. Впрочем, парой фраз она всё же обмолвилась:

– Антропогенез наоборот – это даже забавно! По истечении тридцати минут можно смело идти на выход. – И, шумно вздохнув, деловито устремилась в другую часть кабинета.

Урок физкультуры, ничем не отличавшийся от утренней гимнастики, проходил под следующим лозунгом: «Быстрее. Выше. Сильнее». В центре зала восседала Агафья Петровна Пржевальская, державшая в руке сторожевой свисток. ДЦПшники, все до одного, дружно ненавидели А. П. Пржевальскую, и посему безустанно – в попытке украсть или испортить, – совершали набеги на чудесный свисток, но всё напрасно – старенький, изрядно облупившийся кусочек пластмассы, похожий с виду на игрушечную пушку, казалось, врос в её тело, жизнь и душу. Три добрых четверти часа дети-инвалиды наклонялись, бегали и приседали, пытаясь укрепить непослушное тело. Всё это было безумно интересно и необычно и в то же время, вызывало жалость и грусть, и ещё какое-то новое чувство: то ли удивление наполовину с болью, то ли огорчение и неприязнь. Первые тренировки давались нам с колоссальным трудом: перед глазами всё расплывалось, становилось смутным и зыбким; мы неизбежно сбивались с ритма, тело ныло, не желая слушаться. Но я ничуть не жалею о затраченных усилиях и пережитых испытаниях: впоследствии именно «пржевальские нагрузки» помогли нам встать на ноги и двигаться дальше.

Далее нас ждала проверка на знание школьных предметов для детей с ограничением по здоровью. Я хорошо запомнила тот день; во время диктанта учительница по русскому языку нам повторила несколько раз:

– Не разговаривать, в тетради друг другу не подглядывать и не мешать соседу локтями.

Внутренне я уже готовилась услышать в нашу сторону: «Не списывать у соседа, или с завтрашнего дня я расскажу вас по разным партам», но училка по русскому и литературе оказалась намного культурнее и снисходительнее, чем можно было предположить, – всё-таки гуманный.

На уроке математики также не обошлось без эксцессов. Бородатый, с ног до головы затянутый в клетчатый костюм, учитель математики, – по классу он передвигался исключительно на цыпочках, – сильно побледнел, когда мы двинулись к нему навстречу и инстинктивно вытянул вперёд свободную руку, как бы отстраняясь от чужих проблем. Мы решали одну задачу на двоих и выписывали решение на доску, а он, протирая лоб цветастым платком, непрерывно кивал головой: «Да-да, конечно. Безусловно-безусловно», красноречиво снимал и одевал очки и глуховато покашливал.

Географичка основательно опоздала, а историчка предусмотрительно заболела.

На следующий день, увидев наш средний результат по основным предметам, Адольфовна долго и безжалостно смеялась. Как оказалось – тебя оставляют в седьмом классе, а я перехожу в восьмой. Свой директорский приказ, согласно которому нас обеих оставляли в седьмом классе, она написала на специальном бланке и, довольно потеряв ухоженные руки, безмятежно процедила: «Нет того урода, который не нашёл бы себе пары!» и напоследок махнула рукой, позволяя нам уйти.

К сожалению, обед нас порадовал намного меньше, чем завтрак: на первое подавали зелёный борщ, на второе – картофельное пюре с горохом, а на третье – протест старшеклассников. Одни – яростно стучали ложками по столу, другие – монотонно топали ногами, и все требовательно голодали.

– Почему они отказываются от еды? – поинтересовалась я ошарашенно.

– Адольфовна запретила курить в палатах. Вот ребята и беснуются, – сообщила Божуля, – в некотором роде выражают несогласие.

– Она лишает нас того, о чём сама не имеет ни малейшего понятия, – негодуяще фыркнула Спринтерша. – Здесь не прожить без курева. Ничего, на всякий яд разыщется противоядие.

Странно устроен человек, чудно и непостижимо: стоит хоть что-нибудь ему запретить, как в нём тут же пробуждается и нарастает славный дух противодействия – в столовке бастовали даже те, кто не курил.

Вернувшись в палату, мы уселись на кровать и начали делать физику. Рядом, праздно развалившись в кровати, лежала Полубаба и читала книгу; глуповатая, застенчивая улыбка озаряла её плоское, как ладонь, лицо.

– Слушай, а есть ли здесь библиотека? – поинтересовалась я немного небрежно.

– Вниз по лестнице на первый этаж, – сонно ответила Полубаба. – Но это скучнейшее место на земле, где кроме советской пропаганды и непроходимой скуки по школьной программе сроду ничего путного не водилось.

Дверь тем временем распахнулась, и на пороге показалась Спринтерша.

– Сука, как она смеет нам что-то запрещать! – продолжая возмущаться, она энергично двигалась к нам. – Если человеку запретить курить, лгать, рожать детей и иметь свободное время – он расхочет быть человеком, и тогда неизвестно, на какие шаги он пойдёт.

Намёк был очевиден: Адольфовна не курила, не лгала, – потому что любила швырять правду в лицо, – не имела детей и, по-видимому, не зная чем себя занять, всё свободное время отдавала интернету.

– Ненавижу эту стерву! – не унималась Спринтерша. – Обычно заходишь в её кабинет, и глаза разбегаются – не знаешь, куда их прятать. Сидит она перед тобой такая: жуёт шоколадные конфеты, даже не глотая, а изрядно пожевав, сплёвывает сладкое месиво в мусорную корзину. Видели уже?

Мы приветливо кивнули, не зная, что сказать.

– Она *специально* их жрёт перед нами, чтоб мы слюной захлебнулись. А конфеты все импортные; муж плешивый по благу достаёт. Он сын какой-то важной шишки: машина, дача, все дела. Вот как *мы* поступим: вы проникните в её кабинет и стырите брюссельскую конфету – или откуда она к нам прибыла!?

– Зачем? – изумлённо воскликнули мы, недоверчиво глядя друг на друга.

– Восстановить справедливость. Сделаете дело – вольётесь в нашу банду. Такие уроды нам не помешают! Всё ясно, Раз-Два?

– Мы никогда не воровали, – запротестовала я. – Не знаю, что тут можно сделать.

– Так, – взбесилась рыжая Спринтерша, – не для того я столько здесь говна сожрала, чтобы теперь меня овца четвероногая учила. *Я знаю*, что *тут* можно сделать, ясно? Я!

– Оставь их в покое, – дребезжащим голосом вмешалась Полубаба.

– Тебя никто не спрашивает, дура безногая! – оскалилась на неё Спринтерша, затем снова обратилась к нам: – Полубаба настолько тупа, что не видит, как вы уродливы. *А я вижу* и пытаюсь помочь. Сначала помогите мне, а потом я помогу вам – возьму под своё крылышко; у меня всё по-честному. Читайте это проверкой.

– И как же мы это провернём? – поинтересовалась ты.

– Каждый вечер после работы директриса рулит к вахтёрше, полуглухой старухе лет восьмидесяти четырёх, и отдаёт ей ключи на хранение. План такой: предстанете перед хрычковой, как вы есть – четверорукие, четвероногие и, небось, напугаете её до потери пульса, а то, глядишь, карга и вовсе окочурится – вот будет забава! – довольная, гоготнула Спринтерша и, прежде чем продолжить, сделала затяжную паузу, ожидая произведённого эффекта, но его почему-то не последовало: – Шучу, выживет, падла, – вырвалось у неё почти с досадой, – такие не дохнут. Короче, отвлекайте старушонку, пока Сопля не стянет ключи, – и она махнула рукой в сторону ближайшего окна.

У окна сидела самая юная обитательница палаты и беспечно лузгала семечки. На вид ей было лет одиннадцать, и ничем её внешность не выделялась, кроме шуплого телосложения.

– Поздно вечером сделаем дело, – заключила Спринтерша вальяжно, – а сейчас – свободны.

Она говорила о нашем уродстве как об обычном, повседневном явлении, не стесняясь в выборе цветастых выражений. Это меня сильно смущало. Я порывалась взбунтоваться и ска-

зять ей решительное «нет», но ты взяла меня за руку и крепко сжала. И тогда я поняла – *ты решилась на кражу*. Иначе и быть не могло; мы охотно унижаемся перед негодьями – это стало привычкой. Спринтерша тем временем достала небольшую картонную коробку из стенного шкафа, подозвала к себе Соплю и Торбу – крепко-слаженную девушку с розовым лицом и толстыми ручищами – и они втроём вышли из палаты.

– И побить её нельзя, – полпалаты встанет грудью на защиту, – в полголоса размышляла Полубаба, – и дружить с ней невозможно, да к тому же и бессмысленно.

– Куда это они собрались?

– Будут клей в вёдра подливать, – бесстрастно ответила Полубаба.

– Это ещё зачем? – спросила ты вызывающе.

– Мстят за попанную честь, очень уж обидчивые стали. Рассказать? Местные уборщицы на той неделе притащили на работу своих детей. А тем мелким тварям попался на глаза один из наших. Короче, обступила мелкота позорная калеку и начала над ним глумиться – радоваться чужой беде.

Скомкано закончив объяснения, Полубаба презрительно фыркнула, повела плечами и снова взялась за книгу.

– Я думаю, им без разницы, что он калека, – предположила я, прекрасно понимая, как неубедительно звучат мои слова.

– Всего лишь воспользовались случаем для расправы, – подхватила ты бредовую идею, – не столь важно – над кем.

– Ну, конечно же, дети всегда неумышленны в своих поступках, – неостроумно съязвила Полубаба. – Просто они никого за людей не считают – ни животных, ни калек.

Нет границ у человека: ни в любви, ни в ненависти. Но виноваты ли в этом сами люди? Они ненавидят нас, потому что боятся повторить нашу судьбу. Хотя, возможно, истинная причина лежит гораздо глубже, беря начало от скрытого уродства их собственных душ.

На свой первый урок мы пришли заранее. Школьных парт в просторном помещении было втрое больше, чем самих учеников. Ровно в час тридцать прозвенел звонок, а минуту спустя в класс вошла историчка, которая вроде бы заболела. Выглядела она, впрочем, скорее раздражённой, чем больной. Написав в верхнем углу доски сегодняшнее число, месяц и год она спокойно села за стол и принялась выкрикивать наши фамилии. Отметив посещаемость, она, казалось, немного расслабилась и, хмуро вперившись в перекошенные судорогой лица, задала свой коронный вопрос:

– А разве никто не замечает *ошибку*?

В классе повисло выжидательное молчание. Я сразу же решила, что речь идёт о нас: мы – та самая ошибка, и мысленно приготовилась к педагогическим издевательствам. И тут случилось нечто невообразимое. Не желая мириться с нашим несовершенством и несовершенством внешнего мира, «больная» историчка фактически завопила:

– Как можно быть такими тупыми? Сегодня двенадцатое сентября, а какое число написано на доске?

– Четырнадцатое декабря, – осторожно заметила Божуля.

– Тогда, будь добра, встань, сотри и напиши правильную дату.

Божуля с трудом поднялась из-за парты и, виновато ковыляя, потащилась исправлять «ошибку». С подобным мы сталкивались впервые. Сорок пять долгих минут меня терзал безмолвный вопрос: если первый же урок начался с преднамеренного обмана, то можно ли верить всему остальному, что мы проходим в школе?

На перемене между русским и математикой человекоподобный громила, всем своим видом и девиантным поведением, смахивающий на переросшего обалдуя-дитятю, сделал нам подножку. Я сильно ушибла колено, и мы хромали весь остаток дня, неуклюже заваливаясь в мою сторону.

– Надя, неужели они не понимают, – удивлялась я очевидным вещам. – Ведь сами они испытывают абсолютно *те же самые* чувства, когда здоровые дети издеваются над больными.

– Боюсь, этого им не понять, – отвечала ты задумчиво и хмуро, – мы ведь не несчастные калеки, вызывающие жалость, а двуглавые уроды, порождающие страх и отвращение.

Ты всегда видела людей в их истинном свете, не испытывая боли или сомнений, ни на что не уповая, живя с тем, что досталось от природы, а не иллюзией. А мне и теперь трудно понять: почему даже такие нелепые животные, как муравьед или выхухоль вызывают симпатию и умиление, но только не мы? Может, люди к нам ещё не привыкли?

Я часто задаю себе вопрос, каково было бы иметь своё собственное тело, идти куда захочешь, поступать как душе угодно, не являясь заложником другого, пусть даже самого родного, самого близкого человека. Так уж сложилось от рождения, что первенство в принятии решений безоговорочно отдавалось тебе. Незначительная разница в росте расставила всё на свои места – интуитивно мне всегда приходилось подстраиваться под твои нужды и желания. Мы не привыкли договариваться, куда пойти и чем заняться, – все решения ты принимала сама, – а я добровольно служила тебе, как служит престарелый муж молоденькой супруге – старательно и с любовью, – не умея запретить ей жить так, как ей заблагорассудится. С другой стороны, моё дурное настроение, сонливость или плаксивость приковывали к постели нас обеих. В пансионате мы мало двигались и редко общались со сверстниками; нечто подобное могло случиться и здесь, – и случилось, только по совершенно другим причинам. Когда мы узнали о библиотеке, нас охватила тревожная радость и волнение дум. Возможно, именно там мы и найдём ответы на все наши вопросы. Что, если кто-то уже сталкивался с подобным феноменом и написал об этом книгу? Что, если таких, как мы, – щедрой рукой разбросанных по миру, не способных встретиться и объединиться, – *великое множество*? Неопределённость пугала и манила, привычные вопросы обретали сакральный, ни с чем не сравнимый смысл. Так внезапно и неожиданно, интернатская библиотека обрела для нас магистральные черты; именно туда, как впадающая в океан река, мы первым делом и отправились. Несколько часов мы искали любую информацию касательно сросшихся двойняшек – увы, безрезультатно; зато обнаружилось внушительное количество гениальных книг, ставших классикой мировой литературы. Наверное, не стоит упоминать, насколько сильно ошибалась Полубаба! Массивная библиотека являла собой изысканное украшение интерната. Но более всего мне запомнилась не она, а её гостеприимная хозяйка – неопрятная на вид женщина лет сорока, с сильной проседью в волосах и резко заострённым, словно наконечник кузнечных щипцов, продолговатым носом. Несомненно, Адольфовна прозвала бы её Буратина, если бы библиотекарша оказалась сиротливой калеккой.

Эта немолодая одинокая женщина, – её имени мы так и не узнали, а интернатским прозвищем она за все годы так и не обзавелась, – всегда подсовывала нам выдающихся писателей и замечательных поэтов.

– Здесь был один парень, тоже любил читать и крючковатым ногтем делал заметки на книжных страницах, – начала она свою отповедь. – Давно это было, лет десять назад! Я только начинала здесь работать и, конечно же, боялась ему навредить своей неопытностью и простодушием, думала: «ладно, пусть себе царапает». А он не то, что вы – нормально двигаться и не мог, трясло всё тело, словно в лихорадке, и говорил невнятно и урывками.

– А где он сейчас? – воскликнули мы в один голос.

– Отправили в дом престарелых, ему было девятнадцать, а он там взял да и умер. Ну ладно, читайте, дело это одинокое, как и смерть, а я пойду. Только не портьте хорошие книги, и плохие портить не надо.

Умер. В девятнадцать лет! Тем удивительнее было находить отметины его вкрадчивых дум и суждений – эти мёртвые следы, бесцветной паутиной раскинувшиеся по поверхности

литературы, или его неразборчивые каракули – вдумчивые мысли, надолго пережившие самого человека. Он много читал, размышлял, хотел жить долго и счастливо, хотя прекрасно понимал, отпущенный судьбою срок подходит к закономерному концу. Несколько раз мне тревожно мерещилось, будто он сидит за соседним столом, сосредоточенно перебирая страницы, а дочитав книгу до конца, восхищённо танцует пальцами рук – *одними пальцами*.

Уходить не хотелось, но библиотека закрывалась в семь, а нам ещё нужно было не опоздать на ужин. Все ели с видимым удовольствием, включая тех, кто во время обеда активней прочих подстрекал к беспорядкам, и мы с радостью присоединились к жующим активистам. В столовой Спринтерша даже не смотрела в нашу сторону, но стоило ей вернуться в палату, как самым бесцеремонным образом она вторглась в нашу тихую жизнь. Жестом она позвала нас к себе; прямо напротив её кровати на краешке стула беспокойно ёрзала Сопля.

– Адольфовна давным-давно свалила, старушка-мать тоскует на вахте. Пришло время расплаты. И не вздумайте кутаться в простыню, под которой сам чёрт не разберёт, кто вы есть на самом деле.

Сказав «чёрт», она недружелюбно покосилась на Божую, безучастно дремавшую на разлётанной кровати. Знакомой реакции не последовало, и Спринтерша капризно продолжала:

– Старайтесь быть как можно незаметнее, тихонечко подберитесь к закутку, где обитает вахтёрша, и вдруг громко спросите: «Где библиотека?» И если старуха не отдаст концы, то поднимет костлявую жопу и выползет в коридор, чтоб показать. Уж больно она услужливая.

– Ведь библиотека уже закрыта, – пролепетала я едва слышно.

– Какая, к чёрту, библиотека! – вспылила Спринтерша. – Старуха слабоумная и медлительная в точности как ты. Как только она оставит свой таможенный пост, Сопля мгновенно стянет ключи и передаст их тебе, и ты попрёшься открывать кабинет, брать конфету и возвращаться в палату. И сестру свою прихвати на всякий случай. Всё ясно?

И хотя в душе моей пылало несогласие, мы безропотно кивнули и направились вниз – «искать» библиотеку. К несчастью, всё прошло, как и планировалось, даже лучше. Увидев нас, вахтёрша вскрикнула и, судорожно заморгав, буквально вылетела – точно камень из пастушеской пращи – нам навстречу.

– Вы что за чудо-юдо такое? – закудаhtала она, и на её старчески-удручённом лице мелькнуло девичье любопытство.

– Подскажите, как найти библиотеку? Нам велено сдать книгу, – бойко отвечала ты без тени промедления, пока я тихонько представляла, как ломается и рассыпается, словно высохший песочный замок, самый «гениальный на свете план». Но вахтёрша поверила и, точно кремлёвский экскурсовод, лично сопроводила нас к двустворчатым дверям роскошной библиотеки. И это в десять вечера! Но самое худшее было впереди: самый дерзкий и бессмысленный поступок в нашей жизни – кража конфеты из «бельгийской» коробки. Честно говоря, я ещё долго не верила в очевидность происходящего, пока не увидела перед собой знакомую дверь с предупредительной надписью: «Директор».

Я ещё сильнее прижалась к тебе и задержала руку у замочной скважины, до боли сжав в ладони ключ.

– Ты чего остановилась? – забеспокоилась ты, тревожно озираясь по сторонам. – Пока ты спишь, время идёт!

– Но это же воровство, – неожиданно даже для себя заупрямилась я.

– Это просто конфета.

– Краденая конфета, теперь ты и я – воровки.

– Ещё не украли, а уже воровки, – раздражённо отмахнулась ты. – Зато у нас появится «семья», и все от нас наконец-то отстанут.

– Скажи, стал бы Робин Гуд отнимать конфеты у льва, чтобы отдать их гиенам?

– Ты слишком много читаешь, – беззлобно рассмеялась ты. – Может, хрен с ней, с этой гиеной?! Сделаем это ради нас.

Повернув ключ в замке, открыв дверь кабинета, мы беззвучно прокрались внутрь. И пока глаза не привыкли, – в помещении оказалось неожиданно темно, – нам пришлось пробираться на ощупь. Коробка конфет, сиротливо лежавшая на столе, казалась серой и неприглядной, как от мучительной болезни, и какой-то неестественно чужой. С непередаваемым волнением я приоткрыла крышку и вынула конфету не глядя. Ой, как много отдала бы я сейчас, чтобы вернуть всё обратно, но тогда, находясь в полушаге от вожаемой коробки, – я ненавидела всеми фибрами души обёрнутые в позолоту лакомства. Я уже собиралась захлопнуть крышку, как выбросив вперёд растопыренную руку, ты молниеносно схватила вторую конфету.

– Возьмём две, – заговорщически прошептала ты, – на тот случай, если мы всё-таки решим попробовать.

В коридоре выключили свет, но наши глаза уже привыкли к темноте. «Впрочем, всё равно лучше держаться за стену, чтобы не споткнуться, – одновременно подумали мы об одном и том же. – Скоро доберёмся до лестницы, поднимемся на второй этаж, потом поворот в кольцевой коридор, а следом дверь, ведущая в палату».

Внезапно из душевой послышался сдавленный жалобный стон; то затихая, то снова повторяясь, он доносился из-за запертой двери. Меня охватили любопытство и страх, и безропотное неудержимое мужество – кому-то срочно потребовалась помощь. Очевидно, то же самое чувствовала и ты, когда твоя рука безоглядно тянула за дверную ручку, – под порог кто-то подложил медицинскую утку и, зацепившись за неё ногой, я едва не опрокинула нас на пол, – болезненно заскрипев, дверь невольно поддалась и раскрылась нараспашку. Из душевой хлынул белый искусственный свет. Непроизвольно зажмурившись, я закрыла руками лицо, но прежде успела разглядеть происходящее. Плечистый крупный парень, стоявший к нам спиной, всем телом наваливался на белокурую медсестру, делавшую по утрам электрофорез, а теперь стонавшую в железных объятиях. Кривые ноги, уши без мочек – точнее, мочки всё-таки были, но по странной прихоти природы сразу же переходили в скулы – и сморщенный затылок, как у младенца – я узнала его сразу: это был Мойдодыр – тот самый дитя-переросток, который накануне подставил нам подножку.

– Пры-оклятые вы-вы-родки, ты-иперь я точно пы-пы-пыразбиваю вам бошки, – растерянно промычал Мойдодыр, повернув квадратную голову и выпятив вперёд узловатое плечо, пока его короткие, но мускулистые руки подбирали спущенные до колен штаны.

Мы ошалело закрыли дверь и, ни разу не взглянув друг на друга, безотчётно двинулись назад, пока не упёрлись в стену. Страх пеленой застилал глаза, смешивая мысли и чувства. Одним конвульсивным рывком преодолев беспросветный коридор, который заканчивался бесконечной лестницей, мы кубарем влетели в палату и растянулись на полу. Затем, немного оправившись и отдышавшись, стараясь никого не разбудить, мы беззвучно подкрались к диктаторской койке.

– Где вы бродите? – оскорблённо прошипела Спринтерша, перебирая большими пальцами ног.

Порывшись в кармане, я молча протянула ей конфету. С притворным безразличием, она недоверчиво повертела её в руках, холодно взглянула в нашу сторону и пробурчала:

– Ключи не потеряли?

Помнится, я испугалась её вопроса. Впрочем, это было скорее замешательство, нежели испуг – стыдливая неловкость и безграничное отвращение к происходящему. Тревожные беспорядочные мысли вихрем пронеслись в голове: «Не потеряли ли мы ключи от кабинета, закрыли ли директорскую дверь?» Ты стала судорожно рыться в карманах, но вместо искомым ключей выудила вторую конфету.

– Ну, вы и суки, Раз-Два! – захлебнулась от негодования рыжеволосая Спринтерша. – Теперь нам всем капец. Я же просила одну. Две – слишком заметно.

– Мы случайно взяли две, каждая по одной, – не моргнув глазом ответила ты, – в темноте слишком *темно* и ни черта не видно.

– Нам тоже хотелось попробовать, – попыталась оправдаться я, – но только не в кабинете. Наши действия, столь несхожие между собой, вызвали совершеннейший ступор у Спринтерши. Вероятно, она думала, что *мы всегда поступаем одинаково*. Она, очевидно, была не в силах выговорить ни единого слова.

– Вы, кажется, затеяли действовать вразнобой, – она проворно поднялась с кровати, чтобы опомниться. – Вы точно сросшиися, или вы нарочно меня дурачите?

Вместо ответа я протянула ей найденный в кармане ключ.

– Ладно, валите уже спать, – пробурчала Спринтерша, спрятав конфеты себе под подушку.

Не имея желания продолжать беседу, мы молча направились к своей кровати, нечаянно столкнувшись по пути с Соплём. Та взвыла от боли, обхватила голову руками и потихоньку поковыляла дальше – к койке Спринтерши за ключами. Полубаба не спала. Облокотившись на подушку, она безучастно наблюдала за происходящим.

– Какие шустрые вы, однако, даром что на четырёх ногах. Мне бы лучше отдали одну, зачем вам столько? – и тихая, безобидная улыбка промелькнула по её приплюснутому лицу. – Как всё прошло-то?

Мы словно только и ждали этого вопроса. Но когда бессвязным шёпотом, невольно перебивая друг друга, мы поведали всё, что с нами случилось, Полубаба разразилась таким безобразным и хлюпающим смехом, что нам вновь стало не по себе.

– Да вы совсем наивные, – наконец-то выдавила она из себя. – Неужели вы ничего не знаете и ничего не ведаете про *это*?

– Конечно, знаем, – обиделась ты, – и ведаем больше некоторых!

К тому времени мы были в курсе того, что происходит между двумя повзрослевшими людьми, когда рядом никого больше нет. Некоторые наиболее продвинутые сами рассказывали о своих похождениях. Но рассказы – это одно, другое дело – увидеть *это* собственными глазами. На секунду меня охватило глубочайшее отвращение, потом наступило гнетущее чувство слабости и, наконец, я пришла в негодование.

– Скажи, зачем они это делают? Ведь это же больно!

– Ну, вы ваще тупые, Раз-Два! Вы что, в пещере родились? – едва сдерживаясь от хлюпающего смеха, давилась Полубаба. – Кто вам сказал, что это больно? Хотя, – вдруг с сомнением добавила она, – это может быть не слишком приятно.

– А ты хоть раз сама-то пробовала? – ворчливо поинтересовалась ты, – или знаешь об этом только понаслышке?

Не удостоив нас определённым ответом, лишь презрительно фыркнув, Полубаба немедленно уронила голову на подушку и нарочито громко захрапела. Вскоре ты тоже уснула, а я ещё долго лежала без сна, размышляя об увиденном, пережитом, непонятом. Если женщины сами идут на *это*, значит, это им для чего-нибудь нужно.

Утро следующего дня оказалось практически точной копией вчерашнего и последующего за следующим: мы так же стояли в очереди в туалет, – постепенно продвигаясь всё выше и выше, – ежедневно: чистили зубы, завтракали и занимались утренней зарядкой, словом, застряли во временной петле, из которой, казалось, не было выхода. Отличия случались довольно редко и расценивались как величайший дар, обычно заканчивавшийся неизгладимым позором.

Примерно к середине гимнастического «многоборья», называвшегося утренней зарядкой, в спортзал вошли посторонние люди: Адольфовна в сопровождении Марфы Ильиничны

и полоумная, но бдительная вахтёрша. В плохо проветриваемом помещении вдруг воцарилась тишина, лишь изредка нарушаемая прерывистым дыханием измученных «атлетов».

– Вчера ночью в наших скорбных стенах случилось досадное происшествие, – начала Адольфовна покровительственным тоном. – Украл ключи на вахте, некто взломал дверь моего кабинета, забрался в него и копался в личных вещах. У меня есть все основания полагать, что это сделал кто-то из вас. Кто бы это ни был, он будет наказан.

– Капец, у Адольфовны, все конфеты пересчитаны, – шепнула стоящая рядом Сопля; кто-то тихо присвистнул.

– Я уже догадываюсь, как именно всё произошло и кто это был, – продолжала директорша. – Поэтому настоятельно рекомендую вам добровольно сознаться в содеянном. В этом случае наказание окажется менее суровым.

Она говорила буднично, спокойно и неторопливо, но глаза её пылали огнём, а голос звучал ещё прекраснее, чем обычно. Несколько мгновений мы были зачарованы увиденным зрелищем. Удивительно, как превосходно могут ужиться в человеке жестокость и красота, гармонично дополняя друг друга.

За это время никто так с места и не сдвинулся. Да и зачем, ведь Адольфовна и так *всё знает* и, таинственно улыбаясь, смотрит как раз на *вас!*

– Раз никто ни в чём не признаётся, то мне придётся устроить обыск ваших личных вещей. И поверьте мне, тому, кто виноват в этой тёмной, скверной истории, придётся очень и очень туго. Никуда не расходимся. Зарядка не окончена.

И хотя я знала, что у нас с тобой всё равно ничего не найти, у меня зуб на зуб не попадал от леденящего душу страха. Сзади незаметно подкралась Спринтерша и хрипло процедила сквозь стиснутые зубы:

– Укажешь на меня – сгною!

Мне захотелось убежать, перепрыгнуть через забор и закопаться брюхом в гнилую листву, но сдвинуть тебя с места не представлялось возможным.

Примерно полчаса спустя, когда Адольфовна и Марфа Ильинична заглянули в нашу палату, каждый стоял возле своей кровати, беспомощно наблюдая за происходящим. Дальше разыгралась сцена в духе безжалостных средневековых притч. Заведующая женским отделением, – немолодая уже женщина, обливаясь потом, нехотя переворачивала содержимое наших тумбочек, а дотошная директорша, будто малым рентгеном, настойчиво сканировала их содержимое. Вскоре к ним присоединилась воспиталка, и они принялись ковыряться втроём, методично отодвигая койки. И пока Адольфовна шарила у стен, Марфа Ильинична простодушно озиралась и перетаптывалась с ноги на ногу.

– А вот и виновный! – воскликнула Адольфовна и двумя ухоженными ногтями, словно филателистическим пинцетом, победоносно подняла с пола фантик.

– Мы должны что-то сделать, – шепнула я и, не дождавшись ожидаемой реакции, дёрнулась, как вошь на гребешке, и отчаянно выпалила: – Она не виновна. Это сделала я.

– Неужели? – наигранно изумилась Адольфовна. – Тогда что здесь делает это?

И она демонстративно показала на смятую обёртку от конфеты, предательски завалившуюся под Спринтерскую койку.

– Подбросили.

Тишина и ни слова в ответ. И тогда, ввиду полного отсутствия реакции, давась клокочущим страхом, как вспоминают плохо заученный стих, я принялась сбивчиво декламировать своё чистосердечное признание:

– Украл ключи, я забралась в кабинет, взяла две конфеты из коробки, съела их, а затем вернула ключ на вахту. Больше я ничего не брала, и кроме меня там никого не было. А моя сестра здесь ни при чем, – нерешительно добавила я; в нашем случае нелепое дополнение.

Адольфовна слушала холодно и сурово и, конечно, не верила ни единому слову. Но подделать ничего не могла – вахтёрша видела только нас двоих, а мелочность и комичность происходящего нервировала её всё больше и больше.

– Тяжело же вам придётся в нашем дружном коллективе, трудно и тяжело, – проницательно заметила она, хмурия лоб и пронзая нас острым, как булавка, взглядом. – Затем немного помолчав, будто давая нам время устыдиться и постепенно привыкнуть к своему утверждению, она громко объявила:

– Виновных ждёт наказание – десять суток в изоляторе, с посещением всех школьные занятий.

«Война войной, а уроки по расписанию!» – подумала я и обернулась к Спринтерше, но та угрюмо смотрела в окно, её руки заметно дрожали.

В те времена, как это ни покажется странным, подростки в школе-интернате старались не отставать от школьной программы. Удовлетворительные отметки помогали поступить в какой-нибудь техникум, благополучно минуя дом престарелых и дурку. Впрочем, это касалось только ходячих, «лежаки» с рождения были вне игры.

Мы покидали палату молча, не спеша, не думая ни о чём, ни о чём не жалея. Нам был вынесен публичный приговор, спорить не имело смысла. Ни сейчас и ни тогда, – даже если бы мы снова вернулись в прошлое, – я бы не почувствовала за нами вины, может, потому, что сама во всём призналась – восстановила собственную справедливость, а может, и потому, что ни действием, ни словом мы не причинили зла ни одному человеку, только самим себе. Смущало только одно: чтобы найти семью там, где ты никому не нужен, нужно сперва совершить преступление, а затем добровольно снести наказание. Сначала ты прогнёшься в поисках лучшей участи, а затем отдашь и жизнь. А что взамен? Чистая совесть? Но не чище ли совесть у тех, кто не совершает никаких преступлений?

– Идите быстрее, – подгоняла нас директорша. – *Я знаю*, вы намного проворнее всех прочих «подкидышей» – у вас на одну четыре ноги, и к тому же все четыре – здоровые.

А что же Марфа Ильинична? Эта скудная на слова и эмоции женщина, кажется, существовала исключительно для того, чтобы показывать всем своим видом: невозможно одновременно заботиться о вышестоящем начальстве и людях, зато всякий раз тяжело вздыхала при виде грубости, жестокости и неправоты. Серая и безликая, – даже прозвища для неё не нашлось, – она шла медленно и понуро, спрятав голову в покатые плечи, будто стыдилась тех безнравственных поступков, в которых принимала участие. Я надеялась, что, быть может, она захочет поговорить, сказать нам хотя бы пару слов поддержки и понимания. Но она хранила упрямое молчание сначала в палате, потом в коридоре, потом на лестнице, потом на улице, и только у дубовых дверей низенькой глинобитной пристройки, похожей с виду на курятник, выдавила из себя обязательное слово: «Заходите», обращаясь при этом почему-то не к нам, а напрямую к Адольфовне.

Дверь отворилась, и мы вошли в небольшую квадратную комнату с криво заколоченными окнами. Внутри оказалось темно и сыро, пахло отсыревшей штукатуркой и жжёной резиной. Включили свет. Первое, что бросилось в глаза – заплёванный пол и осклизлые стены. Потоптавшись немного у дверей, Марфа нерешительно кивнула в направлении горбатой кровати и, сказав ещё одно последнее слово: «Отдыхайте», беззвучно вышла и заперла дверь.

«Отдыхайте» – очень смешно!

В продолжение всей этой идиотической сцены, Адольфовна ни разу не шелохнулась.

Оставшись наедине, мы долго сидели молча, предоставив друг другу время на праздные и бесплодные размышления. Каждый вращался, как умел вокруг сугубо личных мыслей.

– Верь мне, – нарушив безмолвие изолятора, заговорила ты, кивая головой, – всё будет хорошо.

– Надеюсь, – сказала я, пытаюсь приободриться.

И тут вдруг мне в голову пришла неординарная мысль, которая уже давно незримо витала в воздухе.

– Надя, – начала я высказывать крамольную догадку, – что, если с самого начала Верой назвали тебя, а меня – соответственно Надеждой, а потом нас невольно перепутали, как путают ценники в магазине. Подумай сама, ты всегда *веришь*, что всё образуется.

– А ты всегда *надеешься* на лучшее, – подхватила ты и, подумав ещё немного, решительно добавила: – Всем людям нужна надежда, без неё не прожить. И куда сильнее наша надежда, когда она подогрета верой. Так что неважно, кто из нас – Вера, а кто – Надежда; главное, что мы связаны вместе, как скрепляют стальными мостами два берега одной реки.

И сидя на старой, исправительной койке, мы порывисто обнялись, как это умеем делать только мы – под 45° к наблюдателю, немного прогнувшись в пояснице, с переплетёнными в локтях руками, как будто счастливые молодожёны, пьющие на брудершафт.

Каждый день бессловесная Марфа Ильинична провожала нас до самой школы, сажала за дальнюю парту, потом забирала после уроков и отводила обратно в изолятор; а вот еду из столовой нам носили непосредственно в «номер». Время тянулось бесконечно медленно и одновременно совершало внезапные рывки или делало круговые движения. Неудивительно, что десять суток спустя уходить совсем не хотелось – мы бесцеремонно вросли корнями в бетонную почву нетиповой исправилки.

Котятта в мешке

Когда время нашего заключения подошло к концу, и мы вернулись в палату, никто не обмолвился ни единым словом о произошедших событиях. Нас встретили прохладно и совсем не весело. Все благополучно забыли о данном нам уговоре. Обещание, которое гарантировало нам семью, было нарушено или просто забыто. Я упорно продолжала ждать момента, когда они сами всё поймут без слов, ведь мы спасли Спринтершу от «отсидки», но, увы, всё было бесполезно с самого начала. Белокурая медсестра, застигнутая нами в общественной душевой в момент наивысшего экстаза, перевелась на другое место работы. Стол наш вскоре оскудел настолько, что иногда не ощущался вкус еды. ДЦПшники, постепенно взрослея, вели себя всё разгульнее и подлее, приобретая удалой характер загадочной русской души: регулярно прогуливали уроки, устраивали частые ночные попойки, дрались, ругались и обижали слабых – ну куда же без этого! – в свободное от разгула время. И хоть изменения происходили медленно, в течение месяцев и даже лет, зато укоренялись в высшей степени быстро и размножались удивительно легко. Большую часть времени мы проводили в библиотеке, скрываясь от «неполноценной семьи». Казалось, туда веками никто не заглядывал, и мы могли часами спокойно сидеть за большим деревянным столом, сверху доверху заваленным книгами – читать, рассматривать картинки или перелистывать страницы без всякого смысла. В первый же год нашего появления в интернате, ты начала курить. А спустя каких-то полгода, так и не привыкнув к ацетоновой вони, вместе с тобой закурила и я. Сигареты мы добывали с трудом, подражаясь на разного рода работы: выносили ночные горшки или в четыре руки стирали чужие грязные вещи.

С первых дней нам дали понять: чем несчастнее жертва, тем беспощаднее отношение к ней. Но что поделаешь, необходимо же людям, в конце концов, утверждаться в собственной значимости. Впрочем, глумились над нами весьма незатейливо, без присущей идиотам и творцам буйной псевдо-фантазии. Нас били, толкали, плевали на нас, писали надписи на стенах и дверях, повествовавшие о нашей двуличности, – даже скучно вспоминать. И нам, конечно, не составляло труда предугадывать все их подлости и заскоки, быть может, за редкими исключениями. А когда предупреждён – значит, защищён, вроде и не так обидно, прям даже гордость разбирает немного.

На следующий год пошли разговоры о значительных изменениях в нашей стране, получивших общее название – Перестройка⁶. Что это означало, никто не знал, даже не интересовался, и долгое время всё это оставалось на уровне слухов. А на самом деле это было эпично, вот только с кем это обсуждать в неприглядном, забытом всеми «объединении уродов и калек», разве что со своим отражением!

Спринтерша, благополучно закончив десятилетку, поступила в ткацкий техникум; как же она собой гордилась, точно взяла золото на Олимпийских играх! Провожали её весьма своеобразно – во время обеда, неспешно ковыляя, к её столу подошёл Мойдодыр, из-за широкой спины которого выглядывали Швея, Торба и Сопля. К тому времени они постоянно тусовались вместе.

– Ши-ито, хромая, по-шкидаешь нас? – промычал Мойдодыр, облизывая потрескавшиеся губы. У него был какой-то странный дефект речи – то ли заикался, то ли пыхтел, то ли не выговаривал сложные звуки, а скорее, всё вместе. Спринтерша благодушно кивнула.

⁶ Перестройка – общее название реформ и новой идеологии советского руководства, используемое для обозначения больших перемен в экономической и политической структуре СССР. Реформы были разработаны по поручению генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова и инициированы М. С. Горбачёвым в 1985 году. Началом перестройки считают апрель 1985 года. (Прим. автора.)

– Поди, не с-свидимся на воле?

– Не думаю, – ликующе кивнула она и, доев картофельное пюре, отодвинула тарелку.

– Ш-што ж, тыгда въ-вали къ чёрту! – прохрипел Мойдодыр.

Как огромный, причудливо изогнутый паук, он навис над обеденным столом и смачно плюнул ей в чай. Гробовая тишина охватила всех присутствующих и слила их души воедино, включая поварих и воспиталок. Тем временем к столу Спринтерши подошли остальные участницы «процессии» и по очереди плюнули в её стакан. Обильнее всего получилось у Сопли; она шла последняя и, вероятно, долго копила слюну. Увы, так бывает всегда – сначала люди боготворят тебя, клянутся в верности и в вечной любви, а потом плюют тебе в чай, а заодно и в душу.

Рыжая явно растерялась. Высоко подняв плечи и кусая нижнюю губу, она дрожала всем телом, то ли от негодования, то ли от страха и, видимо, не решалась ответить. Мы не верили своим глазам. Неужели всё это время за её дерзкими поступками скрывались страх и неуверенность в себе? Когда плевки закончились, Оля неуверенно встала, и ни на кого не взглянув, пошла прочь, а на выходе почти побежала, непроизвольно ускорив шаг – настоящая Спринтерша! Мы думали, что видим её в последний раз.

Тогда ещё жизнь не казалась настолько уродливой и сиротливой, поэтому, когда Адольфовна использовала нас по выходным в качестве «заморских диквинок», забирая к себе на дачу, мы не задумывались над тем, как всё это мерзко и противно. Мы просто выполняли возложенные на нас обязанности – разносили её родственникам, друзьям и знакомым еду и выпивку, убирали посуду. Стол в гостиной буквально ломился от еды, чудом удерживаясь на худосочных ножках. Там были блюда с крабами и лососём, несколько тарелок с чёрной и красной икрой, вазы с апельсинами и даже ананасом, но взгляд наш падал только на конфеты. «Прослужили» мы, впрочем, недолго – вскоре праздное любопытство гостей сменилось желчным раздражением, и директорша нас удалила. Всю жизнь мы потом вспоминали этот сказочный стол, с которого нам не довелось попробовать ни единого кусочка.

Мы учились уже в последнем классе, когда в интернате появился новенький. Случайно попав под машину, а следом на операционный стол, он перенёс несколько тяжёлых хирургических вмешательств, но так и остался парализованным. В обычную школу его не брали, а учиться дома не было возможности – он рос без отца, мать работала обыкновенной уборщицей: мыла полы в подъездах. Адольфовна, со свойственной ей «французской эlegantностью», окрестила его Катастрофой. Впервые мы повстречались с ним в библиотеке. Спрятав руки в карманы, он беззвучно катался между стеллажами книг и задумчиво посвистывал. Увидев нас, он положил руки на колёса инвалидной коляски и деятельно улыбнулся.

– Привет, а я уже, разумеется, о вас наслышан, – сказал он так сдержанно, так просто, будто знал нас всю жизнь. Его немного мрачное лицо было украшено прекрасными глазами, шея перечёркнута шрамом – след неудавшегося самоубийства. – Меня зовут Саша.

– Нас называют Раз-Два. А как окрестили тебя? – поинтересовалась я, сильно смутившись.

– Меня зовут Саша для всех и без исключения, – улыбнулся он немного сухо. – На поганые кликухи я не отзываюсь. А теперь, пожалуй, начнём сначала. Меня зовут Саша, а вас?

– Надя и Вера, – поправились мы, в тот момент не до конца понимая, какая сила таится в этом полومانном, но не сломленном человеке.

– Сколько подушек на вашей кровати?

Совершенно неожиданный, этот вопрос сразу же поставил нас в тупик.

– Одна, – только и смогли мы пристыженно выдавить из себя, бессмысленно переглянувшись.

– Я так и знал.

– А так хотелось бы две, – с сожалением сказала я, *вдруг* осознав всю несправедливость ситуации.

Он понимающе кивнул и ответил, начав с вопроса.

– Так в чём же дело? Неужели вы будете спать на одной подушке всю свою жизнь? А какой здесь отвратительный персонал. Ладно бы не было мозгов, так у них и совесть отсутствует. А тот старый телевизор в актовом зале – зачем он там стоит, если безнадежно сломан? (на самом деле раньше телевизор работал, собирая вокруг себя немало зрителей) А эта пронизывающая мерзлота. Уже конец ноября, а отопления нет. Они *специально* издеваются над нами, чтобы бы не жалеть?

– Как ты успел так быстро во всём разобраться? – ответила я вопросом на вопрос. – Ты ведь здесь новенький!

– При желании можно узнать всё! Имеющий глаза – всё увидит; да и книг в этом месте, – он обвёл руками читальный зал и радостно причмокнул, – разумеется, в достатке будет.

Он любил употреблять слово «разумеется». Но это ничуть не портило его речь, даже, наоборот, делало её более убедительной.

– И, разумеется, куда бы вы ни отправились, вы обязательно наткнётесь на Петровну, либо на Ильиничну: мелковат выбор, не находите? – он горько заулыбался, – можно подумать, у них на всех один отец или же *кому-то* не хватило фантазии.

– Петровна и Ильинична – значит, папаш как минимум двое, – решила сумничать ты.

– Сути это, к сожалению, не меняет, для нас они все на одно лицо, как и мы для них.

На каждую кем-то высказанную мысль у него имелось собственное мнение, зачастую шедшее вразрез с «непреложными» принципами.

Я слушала молча; и хотя множество вопросов просилось наружу, задать их, *разумеется*, я не решилась. Прочитав нам лекцию о правах и свободах, вежливо попрощавшись, Саша направился дальше. И как ни была поражена я в тот день всем, что им было сказано, я всё равно не могла понять: зачем призывать людей быть неповторимо разными? Не проще ли делить человеческий мир на Петровных и Ильиничных? В тот вечер я больше не могла читать.

Как минимум в одном он оказался прав – с приближением колючих морозов жизнь в интернате заметно ухудшилась. Только в основе наших бед лежало не то, о чём все подумали – холод, плохие учителя или скудная пища (это лишь следствие), – а тотальная потеря контроля над происходящим. То есть создавалась такая ситуация, когда никто ни за что не отвечал и ничего не хотел менять, все тихонько страдали своими маленькими личными трагедиями, растрчивая жизнь на терпеливое ожидание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.